

Анатолий Рясков

Пустырь



Анатолий Рясков

Пустырь

«Автор»

2014

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рясов А. В.

Пустырь / А. В. Рясов — «Автор», 2014

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обуславливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте. В 2012 году роман «Пустырь» вошел в лонг-лист литературной премии «Большая книга». Петербургский художник Наталья Красильникова нарисовала иллюстрации к тексту, в 2013 году эти работы выставались в нескольких галереях России.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Рясов А. В., 2014
© Автор, 2014

Содержание

Провозглашение зачарованной речи	5
Пустырь	14
1	14
2	16
3	18
4	22
5	25
6	28
7	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Анатоли Рясов

Пустырь

Провозглашение зачарованной речи

[1]. Безколесица Рясова

Перед нами – третий роман Анатолия Рясова, что само по себе требует двух уточнений. Во-первых, после книг «Три Ада» и «Прелюдия. Номо innatus», перед нами третий из опубликованных романов Анатолия Рясова. Во-вторых, одной из особенностей этого автора является та, что каждый текст у него – первый. Он не разработал в романе «Три Ада» некий жанр «рясовщины», следование которому позволило бы ему дальше писать новые произведения. Рясов – писатель без колеи жанровой и даже стилистической заданности. Если первый роман, «Три Ада», получивший премию «Дебют» (номинация «Крупная проза»), был романом-антипутеводителем, второй – «Прелюдия» – расширенной версией лицедейства сценических проектов Рясова, то теперь перед нами – *просто* роман. И это-та простота жанровой определённости – в случае с таким автором – самое сложное, поскольку перед нами роман о романе. Точнее – о его невозможности. И не в том смысле, что герой романа будет писать роман и написать его не сможет. Или автор романа будет рассуждать о том, как бы ему написать роман и роман закончится выводом: написать его не удастся.

Но, прежде чем приступить к «Пустырю», следует посмотреть на то, как внимателен был Рясов уже в «Трёх Адах». Всем известен жанр *утопии*, который в XX веке слился с жанром антиутопии. Мы не будем сейчас вспоминать об острове Томаса Мора, достаточно лишь определить, что утопия – это некое несуществующее теперь *место*, которое могло быть в прошлом (Атлантида) или может быть в будущем (Новый дивный мир). Утопия указывает на отсутствие этого места здесь и сейчас, точнее – на то, как было бы хорошо, если бы оно было именно теперь. Утопия – это зияющая нехватка, отсутствие того, что – появившись оно теперь и здесь – всё бы сделало лучшим. Антиутопия тогда – это указание на неуместность некоторых вещей, свершающихся здесь и теперь: хорошо бы, чтобы их не было, но они происходят. Происходят эти неуместные вещи мельком и незаметно, а потому от них можно будет избавиться лишь сделав их заметными, явными. Один из способов довести нечто до явленности – это довести до чрезмерности, как говорится: до абсурда, «перегнуть палку». Так делали «наивные» антиутописты первой половины XX века, пока людям не стала симпатична сама эта чрезмерность; и удовольствие это было такого рода, что уже совершенно неважно – *что* именно чрезмерно: зло или благо.

«Три Ада» не были ни утопией, ни антиутопией. Это был роман не о месте и не о неуместности. Там речь шла о *пути*, а точнее – о неуместности *любого* пути. Эта неуместность была представлена в тексте «Трёх Адов» в форме показа, поскольку любой путеводитель указывает направления, по которым следует двигаться, чтобы получить то-то и то-то. Если же перед нами – антипутеводитель, то это, в первую очередь, указание не на те пути, по которым не следует двигаться, а парализующий эффект любого пути. Первый роман Анатолия Рясова был не обличением какого-то пути, по которому шёл главный герой. По-латыни путеводители назывались “*vade mecum*”, что буквально можно перевести как «иди со мной», т. е. это был справочник или карта, которую брали с собой. И поэтому *антивадемекум* – это путешествующее с самим путником указание на невозможность любого его пути, или, по меньшей мере, на то, что ни один путь никуда тебя не приведёт всё равно. Свою невозможность пути путник носит

с собой. Спросить его – остаётся ли он на месте при этом или нет – дело другое. Сам Рясков, однако, пошёл дальше – к «Прелюдии. Номо innatus», а оттуда – от *показывания немоты* – к «Пустырю», к *сказыванию невозможности произнести слово*.

[2]. Сцилла и Харибда предисловий

У жанра *предисловия к роману* есть одна, обрекающая его на безнадёжность, черта, проявляющаяся в тот самый момент, когда необходимо что-то сказать о романе, в то время как слева маячит Сцилла *похожести*, а справа – Харибда *простого пересказа*. Что касается последнего, то роман Анатолия Ряскова не пострадает от того, что его кто-то перескажет. Дело ведь не в фабуле, хотя нам в это очень сложно поверить. Нам трудно представить себе античный театр, в котором зрители, рассаживаясь на скамьях перед премьерой, уже точно знали, *что именно* им покажут; греки чурались новостей. Вопрос был в том: *как именно* этот вот трагик представит всем известное. Не случайно, такое пренебрежение новостями сохраняется до сих пор в опере, когда мы знаем её содержание до начала исполнения, ознакомившись с либретто. И, хотя мы не будем здесь приводить некое сводное либретто, должны сразу же заметить, что роман Анатолия Ряскова – не остросюжетный в том расхожем смысле, в каком мы детективно ждём «а что же дальше будет?». У него *иная острота*.

Что касается Харибды *похожести*, то здесь искушение куда более великое. Здесь можно сказать так: чем образованнее будет читатель в отношении эстетических теорий XX века и, в частности, теорий театра и теорий текста, тем узнаваемее будет ему реальность «Пустыря». И поэтому следует предупредить в данном случае не о том, *кого* и *что* следует искать в этом романе, а о том, к чему его *не* стоит сводить – чтобы он смог сказать то, что, собственно, он *уже* и говорит. Здесь не стоит искать Антонена Арто, Мориса Бланшо, Михаила Бахтина, Мартина Хайдеггера, Александра Введенского, Андрея Платонова, Франца Кафку. Их не стоит искать, потому что они здесь есть, но *дело не в этом*. Рясков достаточно сильный автор, чтобы оставить читателя на детской стадии радости от узнавания в духе: «ой, а я знаю, к кому это отсылает». Стратегия подобного узнавания уходит в дурную бесконечность – «узнать кого-то» подменяется автоматически на «знать кого-то». Хотелось бы предложить читателю иной вариант прочтения, опирающийся на самый близкий, а потому вообще не замечаемый опыт: то, что нам приелось, на что мы не обращаем внимания в силу повсеместной встречи тут и там, что мы настолько «узнаём», что даже не способны усомниться в нашем узнавании как в знании – нам следует понять, что мы этого не знаем. Приевшееся и банальное, тривиальное и не заслуживающее внимания – оно настолько нам опостылело, что нам всегда, изначально и до самого конца хочется «чего-то другого». Чего – мы не знаем, потому как знать мы могли бы только то, с чем имеем дело. Но то, с чем мы имеем дело постоянно, нам знать не хочется, нам *верится*, что оно уже нам известно. Так вот, следует подвергнуть эту веру весьма тщательному сомнению. Следует расстаться с ней *хотя бы* на время чтения. Следует понять, что нет «чего-то другого», помимо того, с чем мы имеем дело постоянно и чего мы не хотим до остервенения даже знать – только это-то всегда было, есть и будет. И всё, что предстаёт нам под видом манящего «чего-то другого» – это лишь наше собственное непонимание самих себя в имеющемся.

И поэтому все перечисленные авторы, равно как и множество не перечисленных здесь нужны не для того, чтобы мы «отвлеклись» от своего ближайшего. Напротив: они собрались здесь все только для того, чтобы заняться тем, что только и есть. В данном случае – читателем. И наша задача: подобно хитроумному Улиссу, терзаемому Океаном, понять, что всё это время всегда и везде всё происходящее – было с нами для нас и благодаря нам. И ничего другого и не было. А сирены забвения – не будем вспоминать о Морисе Бланшо – всегда будут петь только о нас со стороны как о манящем «чём-то другом».

[3]. Пустырь в Волглом: Волглое на пустыре

Действие романа происходит в деревне под названием Волглое. Владимир Даль позволяет нам прочесть это прилагательное как *напिताвшийся влагою, сырой, отсырелый, водянистый*. Герои романа, мог бы продолжить Даль, обречены на то, чтобы *волгнуть*, то есть: набирать влагу, мокроту, сырость. Кажется, что именно таким образом и следовало бы назвать роман, используя подсказываемую словом метафору сырости. Но роман назван иначе, и мы попробуем посмотреть – *почему*.

Поначалу, по всем меркам, Волглое – омерзительно. Туда не хочется и там бы не оканзаться. Но вместо того, чтобы сразу же побежать за непонятым желанием убежать, следует задуматься: неужто мы так не верим в «хорошего человека», что встреча оного в недолжных декорациях может пройти незамеченной? Есть и иная опасность, ведь можно поддаться мазохистскому пафосу и заставляя себя – посредством морального или физического самобичевания – любить всю встречаемую на нашем пути мерзость. Кстати, в «Пустыре», если и являються нарёки на подобные настроения, то они совершенно декоративны и не имеют решающего значения. Ведь можно жить в деревне и воспринимать её как свою единственную доступную реальность. Или не воспринимать – приукрашивая для себя или усугубляя до невозможности – всё равно ничего не изменится. И поэтому Волглое следует просто принять, и автор даёт нам возможность принимать всё как должное с самого начала – перед нами герой, который видит такую деревню впервые. Возможно, он видел множество подобных деревень до этого, и поэтому он мог бы не удивляться. Мы не знаем, но он не удивляется. Возможно, он не видел ни одной вообще, и поэтому мог бы удивиться. Но он не удивляется, потому что вообще происходящее в этом романе *просто происходит*. Удивление наше или же, напротив, его отсутствие мало на что влияют. Люди обречены на простоту, и они могут принять всё что угодно – кроме того, на что они обречены. Но, следует повторить здесь: ничего иного у них никогда и не было. Перед нами – в этом смысле – предельный опыт человеческого бытия.

Самое интересное, что люди, обречённые *волгнуть*, не могут просто волгнуть – с ними должно что-то произойти и, более того, происходит. И то, что должно с ними произойти и то, что с ними происходит может не совпадать между собой. И это – тоже происшествие. Пожалуй, основное и главное происшествие, которое здесь разворачивается. Попытка схватить это происшествие предметно, разобраться с ним и перейти к следующему – не удаётся. Такая попытка в любом случае обречена на провал и в руках окажется пустота. И в мыслях окажется пустота.

Роман называется не «Деревня», не «Волглое», не «Сырость», не «Мокрота» потому что всё вышеперечисленное – и даже гниение заживо – это обстоятельство, происшествия и случайности, в то время как используя всё это в качестве подручных средств, случается человеческая жизнь – самое значительное, что только и может произойти. И – самое ничтожное, что только и может случиться. Там где люди, там на кону – существеннейшее, понятое как пустое и пустое, предстающее самым главным, ради чего можно даже потерять эту самую жизнь. Попытка вписать жизнь человека в случающиеся с ним обстоятельства – это всё равно, что через декорации объяснять реплики актёров. Но, возразит читатель, так можно же делать! Конечно, так можно делать и так чаще всего и делают. По выстроенным декорациям первых фраз мы уже узнаём детектив перед нами или драма, верх совершенства в такого рода «искусстве» (многожды и всерьёз исследованном Умберто Эко) – это сделать декорации узнаваемыми, а жанр трудноопределимым. Но мы не спрашиваем о том, чего можно и чего нельзя. Мы спрашиваем: разве не ничтожна радость узнавания случающегося с тобой по декорациям, в которых ты обитаешь? Разве это – не пустое?

Роман мог бы быть назван по любому из используемых в качестве синонимичных «пустырю» слов. Перед нами – «Пустошь», «Граница», «Предел», «Путь», «Зима». Особенно –

«Болотный котлован» (здесь нельзя не вспомнить – и уже вполне обоснованно – Андрея Платонова). Нет, конечно, Волглое – это не пустырь, пустырь подступает к Волглому с одной из сторон (с другой стороны – река, и она даже с трёх других сторон, обрамляет деревню). Более того, за пустырем – кладбище, мёртвые люди, а в Волгломе – живые. Но любители выстраивать структуралистские схемы, могут расслабиться, ведь *пустырь* – это не часть романа, но *он сам и есть*.

[4]. Тотальность сна...

Волглое в «Пустыре» – это не некоторое место, которое можно было бы покинуть, отмахнуться от него и забыть. И, хотя это – деревня, но, однако же, не «местечко». Универсум Волглого тотален. Местячковым делается каждый текст, претендующий на глобальный размах – тем самым он определяет себя (желает того или нет) на «всего лишь историю, которая случилась и кончилась». Но в Волгломе ничего не случилось, точнее – там ничего не начинало случаться такого, чтобы затем, продолжившись, оно могло закончиться: «угасающее существование не даёт смерти». Перед нами тотальность постоянного skonчaniya, без разворачивания жизни, без начинания такого разворачивания, без надежды на такое начинание. Говоря словами Ряскова – это то самое удивительное, что происходит в сновидении, но при этом способно его прервать; это часть сновидения, одна из многих иных, которая пробуждает нас, не позволяя более встретить ничего иного, кроме увиденного. Это – «намёки на жизнь как на сон», которые, оставаясь всего лишь намёками, не получая своего законно причитающегося *намекаемого*, заполняют всё. Здесь «реальность застигнута во время сна», но *куда* ей просыпаться, если сама *реальность* спит? Реальность застигнута во время сна – это значит, что реальное – это то, что «бодрствует внутри своих снов». Реалии Волглого «не исчезают, даже когда мы закроем глаза». И, казалось бы, что краски сгущены донельзя и так нельзя, это лишь болезненные фантазии автора и много чего ещё – в том же духе нескончаемого идиотского всепозитива. Но за всем этим может скрываться одна простая мудрость, к которой, как и ко всему простому, ведёт самый извилистый и замысловатый, фактически – немыслимый – путь через лес наших заблуждений. Можно выразить её так: «пожить среди людей – приучить глаза к мраку». Всё происходит в сумеречном свете нескончаемого завершения – от первой до последней строки. Это время суток (вечер) и это время года (поздняя осень), когда явь начинает сменяться сном, но никакой преграды между ними ещё не существует. В реалиях Волглого это «ещё» нестерпимо длится. Собственно, только оно и умеет длиться себя. Все остальные кончатся ещё прежде, чем будет поставлена последняя точка -

[5]... и неуместность пробуждения

– хотя бы потому, что роман начинается с конца. И в этом нет ничего нового. Но кто сегодня и вообще когда-либо интересовался в литературе новым? Не есть ли требование новаторства, примеряемое нами к современным романам, чужеродный приём, пришедший невесть откуда, чтобы потребовать чего-то своего у чужих ему людей – и сгинуть в никуда? Мы, сидящие в литературной крепости, во флюберовской башне из слоновой кости, какой приём должны мы оказывать хамству проникающих к нам снаружи, с нелитературной наружи, требований выйти и заплатить по давним счетам. В «Пустыре» не случится ничего нового, напротив: там обречено на происхождение то, что и так постоянно, вновь и вновь свершается, независимо от того: видим мы свершающееся или нет. Какой тогда смысл писать о том, что и так будет происходить – напишем мы об этом или нет? Но в том-то и дело: когда мы обратим на свершающееся внимание, оно изменяется. Надо только суметь это сделать: увидеть ближайшее, которое для нас дальше всего. Надо оставить мать свою и отца своего, и братьев своих

и сестёр своих – и отправиться в путь к тому, что только и есть: к ближайшему. Ведь чаще всего самое близкое неимоверно отстоит от нас. И здесь уже не до требований новаторства. Я, свершившийся здесь и сейчас – я новый или нет?

И что будет, если я окажусь старым, не новым, тривиальным? Это меня отменит?

Но, всё же, что-то изменилось. Если Шекспир, через предельную чёткость действий и частность сюжетов выводит зрителя и читателя на общезначимые вещи, то Волглное – через бездействие, предельную неопределённость и размытость формирует частный опыт персонажей. Они появляются как подходящие к залитой дождём стеклянной двери люди: отделяясь от фона в силуэты человекоподобия, готовые вот-вот войти внутрь и поприветствовать нас, давно уже ожидающих их. Но эти – не войдут. И будут из своей дождливой туманной расплывчатости маячить *вроде бы* знакомыми фигурами, никогда не отменяя этого самого «вроде бы»: великий инквизитор Достоевского и маньяк, почти некрофил в священнической одежде; извечный шут на Руси, он же – философ языка, он же – божий человек Игоша; временами гоголевский кузнец, который не оседлает чёрта, но и чёрт его ни черта оседлать не сможет; или мягкая добрая сельская учительница, любящая книги настолько, что даже никогда не решится прочесть их так, как они – может быть некоторые – того требуют; и, в конце концов – опаснейшая сплетница, старуха, в личину которой вплетены все светлейшие упования и языческие страхи односельчан, на деле оказывающейся как есть старой больной и одинокой бабушкой, которая, впрочем, вряд ли становится от этого превращения милее.

Они все будут слегка узнаваемы через муть этих нелюдных, в общем-то, мест: священник свершит акт христианского милосердия – но не потому что священник, и не потому, что добрый человек, напротив – из настроений мизантропического характера. Все они, если бы зашли к нам, были бы нами идентифицированы и мы смогли бы с ними справиться, но – они не войдут. Они кончаются на наших глазах, кончаются безостановочно и без крика. Одна из самых устойчивых метафор романа – царапание изнутри. Вот-вот: они будут расцарапаны изнутри так, что снаружи мы не сможем уже даже указать на них как на известных. Кажется, что изнутри их царапает не избыток, но пустота. И для читателя они будут «все равны в своём отсутствии».

Всё разыгрывается между двух видов пустоты – пустоты-хлама взрослой жизни, которая *уже* не может вспомнить себя, и пустоты настоящей, детских ожиданий и наполнений, которые *ещё* не знают себя вполне. И, как кажется, между этими двумя пустотами должна развернуться жизнь. Нет: между ними – пустырь, а на пустыре – Волглное.

[6]. Вещи

И, всё же, вернёмся к нашему основному тезису: «Пустырь» – *роман о невозможности романа*. И, если мы определились с этим (что, однако, ещё под большим вопросом), можно завершить наш тезис: «Пустырь» – это, в первую очередь, *роман о невозможности речи*.

Кажется, что можно было бы остаться на удобной метафоре сна и бодрствования, и того, что между ними, и сам текст нам даёт такую возможность. Однако, метафора сна пусть да послужит невозможности прямой речи. И речи косвенной. Зададимся вопросом: «что остаётся, когда всё исчезает»? У нас будет два варианта ответа. Первый, самый наивный: ничего не остаётся, когда всё исчезло. Уточним: мы говорим не о том, когда всё исчезло, но о том, когда всё исчезает. Ведь исчезающее всё может никогда и не исчезнуть. И при этом – непрестанно исчезать.

Второй вариант ответа: остаётся необходимость обрести *косвенный* путь для *прямого* высказывания. Что говорит тот, кто говорит что-то? Что говорит тот, кто ничего не говорит? Может ли быть так, что в ситуации всеобщего исчезновения и тот, и другой говорят *одно и то же*? Чтобы это увидеть, надо перепонять речь. Надо вычесть из неё ничего не значащие разговоры о том, о сём, все эти ритуальные экивоки: если человек говорит «здравствуй», а собака

нюхает встреченную подругу под хвостом, то как раз для объяснения этих двух вещей речь не требуется задействовать. Но есть ли такое в возможности быть высказанным, на что способна только речь – и не для демонстрации своей личности, а для решения о человеческом существе?

Мы привыкли, что человек владеет речью. И даже уже почти привыкли к тому, что речь владеет человеком. И привычка стирает остроту этих положений. А может ли человек не владеть речью? Может ли речь не владеть человеком? Будет ли он при этом человеком? И как такой человек *скажется* для других?

Другие настолько привыкли не слышать человека, что будут выслушивать даже там, где будет пустота немощствования. Под немощью здесь не подразумевается, конечно же, какой-либо физический недостаток. Скорее, речь идёт о *существенном отказе*. Если обычно речь показывает человека, то здесь будет немощь, которая откажет человека другим.

Но лучше начать с вещей. В Волглом люди непрестанно кончаются, а вещи – вещи-то как раз *волгнут*. И если здесь когда-то что-то было, то в первую очередь – с вещами. Поскольку они стареют, разваливаются, зияют. И *кажется*, что *когда-то* с ними было *всё в порядке*. Кажется – потому как люди – современники стареющих вещей – не состарились *вместе* с вещами; вещи старятся, а люди – сдались. Они сдались скончанию, все и сразу (воистину торжество антиобщественного договора), а вещи – те нет, не подписывали никакой декларации, и потому, среди скончания вещи чувствуют себя неуютно, потому что, если люди в один прекрасный момент могут сделать вид отсутствия прежнего порядка, то вещи нет, не могут. Они станут – волея-неволей – вместилищем памяти о прежнем порядке. И будут задавать контраст: хозяйственный прежде кузнец будет жить среди разваливающегося дома; и дом, и кузнец стареют, но кузнец стареет через отказ начинаться, а вещи – через ветшание. И в этом человеческом присутствии постоянного скончания всегда будет присутствовать момент решения *не помнить*, того решения, которое вещам не подвластно и которое люди, чтобы продлить, вынуждены начинать заново каждый день. Внешне это начинание может выглядеть как инерция и апатия – тем сложнее с ним справиться. И тогда вещи будут вопить о прежнем порядке, при котором они были «в порядке», и их крик будет тем громче, чем решительнее люди «нового беспорядка». Былое в человеческой жизни появляется в тот момент, когда *решение не начинать* устойчиво устанавливает свой порядок. Вещи будут кричать, но они – вещи, а потому услышать их будет некому. Их лучше не видеть, не обращать на них внимания, ведь они – всего лишь вещи, тем более – наши собственные бывшие вещи. И мы не заметим, как каждый день, безостановочно и бесповоротно делаем их всё более и более былыми, сами при этом не становясь «новыми».

[7]. Дефицит значимости...

Люди, умеющие делать такие вещи, которые заставляют вещи вокруг нас становиться старыми, утверждают особую незначительность своих собственных слов. Там, где крик вещей заглушает неуместность, которую люди умеют извлекать из вещей лучше всего остального, слова людей становятся невнятным бормотанием. И, что самое удивительное: чем невнятнее речь, тем более судьбоносным становится всякое неверное, бессмысленное или заведомо ложное слово. Возникает специфическая форма дефицита значимости: оказавшись без вещей, отказавшись от своего былого и впад в кажущееся безвременье, люди не отменяют собственную смертность. Но безвременье настолько упрямо маячит на фоне развала всего, имевшего место прежде, что очень хочется создания событий. В таких условиях из любого желания высказаться делается событие, но восприятие его заведомо обречено на неуместность; оно будет услышано, оно будет понято, оно будет принято – но совершенно не так, как это следует из намерений – говорящего, слушающего, свидетелей.

И тогда разворачивается картина косвенной речи, под которой начинающие себя заново в качестве неуместных, но неизменно умирающих, понимают умалчивания, имена в виду, зад-

ние мысли. В таких условиях высказаться как хочешь – это сделать заведомо иное, чем хочешь. Например, позаботиться о ком-то – значит нанести вред этому человеку и себе, притом, что ценность заботы декларируется и утверждается на словах – точно так же, как и в те «прежние времена». Но о последних, как мы помним, помнят только вещи. Век вещей в Волглomme – короче, чем век людей. Но даже такие, замалчивающие намерения и действующие косвенно, люди, сами могут быть высказыванием...

[8]. Отступление: о романах

Здесь необходимо отвлечься на одно замечание: роман «Пустырь» – это не роман, иллюстрирующий какую-либо идею. Мы все знакомы с такими романами, когда автор последовательно разворачивает некоторую оригинальную мысль или даже банальную идею, используя всё содержимое романа в качестве *иллюстрации*. Нередко бывало, когда из романа-идеи спустя какое-то время читатели и критики извлекали другие идеи, которым роман не служил иллюстрацией прежде. И тогда такие романы могли даже затесаться среди классических произведений. Такой способ написания романов не хуже и не лучше всех остальных (а их – в этом контексте – не так уж и много). Но «Пустырь» – это не роман-идея. И части его – не идеи, хотя с самого начала и до самого конца читателю будет казаться удобной попытка свести действия героев, события или хотя бы самих героев к каким-либо известным и к «Пустырю» не относящимся идеям. В этом, пожалуй, даже есть некоторая интрига. И это даже необходимо: пытаюсь вписать в роман уже известное нам, мы таким образом осваиваем текст романа, но прочитав мы оттуда отнюдь не вписываемое нами. Можно сказать, что это один из герменевтических приёмов для имени дела с такими вот романами как «Пустырь». При отказе от такой герменевтики, «Пустырь» закроется и станет герметичным. Дело в том, что в «Пустыре» множество идей, но они рождаются лишь в реальности самого «Пустыря». Они могут нам что-то напоминать или на что-то указывать, но освоить их мы можем лишь из этой самой реальности этого вот романа. В том и состоит отличие романа-идеи от романа, порождающего реальность: нельзя сразу дать ответ на вопрос «что автор хочет этим сказать?». И сразу нельзя, и после нельзя. Автор уже сказал всё, что сказал. Если читатель не может без идей и не удовольствуется такой тавтологической констатацией, то пусть поработает сам. То есть – подумает. А мы продолжим:

[9]... и люди

Но даже такие, умалчивающие намерения и действующие косвенно люди, сами могут быть высказыванием – и мы теперь понимаем: люди являются высказыванием не потому, что автор заложил в них некоторую идею. Такое часто случалось в мировой литературе и случается всё чаще и чаще. Каким высказыванием являюсь я, вот этот самый читатель этого предисловия? Мы не привыкли задавать таких вопросов, а если и зададимся, то сразу же станем возмущённо сыпать в пустоту дополнительными вопросами: «для кого я являюсь высказыванием?», «в каком смысле реальный человек, а не герой романа, может являться высказыванием?» и т. д. Мы намеренно не берём теологическую тематику «Пустыря» (это потребовало бы куда больших и специальных изысканий, роман предоставляет для этого благодатную почву), а то могли бы сказать: каждый человек перед лицом Бога может быть высказыванием, словом. И сын Божий, став человеком, был Словом. Только ни в одном словаре мира этого слова не вычитать. И люди в романе – тоже слова. Не идеи автора, а слова, которые говоря о своём, высказывают собой неведомое и несказуемое в их речи. И в любой другой речи. Нагляднее всего это проявится, когда в Волглomme вдруг окажется человек, отказавшийся от речи. Ведь он при этом не перестаёт *быть высказыванием*. Более того: он ещё больше становится *таким вот* выска-

зыванием. Не порождая словесных значений через увёртки речи, он не перестаёт *значить*. И как быть с этой его значимостью?

Эту значимость можно попытаться использовать в своих целях: этот человек значит то, что другой человек может за него высказать. И можно даже почти всех в этом убедить, но сам этот другой, использующий бессловесность первого, сам он поверит себе? Нет, сомнение разёст его изнутри и заполонит всё подлинным кузнечиковым кошмаром.

Эту значимость можно попытаться выслушать: и тогда отказавшийся от речи станет тем, кто сам станет слушать всех подряд. Ему будут приписаны все свойства, которые он не отрицает напрямую. И, поскольку он вообще ничего не отрицает напрямую, он становится всем, чем угодно.

В таком же статусе среди людей будет находиться и тот, кто не молчит, но, напротив: мелет языком всё подряд, отказываясь играть в игру имений в виду и умалчивающих уловок. Он тоже может значить всё что угодно, но его сложнее использовать в своих целях. Хотя бы потому, что он может ответить привычным образом. Таковым был Игоша, божий человек.

[10]. Структура смысла

Однако дело не в том, как люди могут задействовать отказавшегося от речи или болтающего всё подряд. Дело в том, что люди, привыкшие гордиться своим даром речи, своей избирательностью в отношении «что сказать такого, чтоб другие не поняли превратно», этим людям приходится столкнуться с условностью всех этих собственных манипуляций. Мы помним, что именно на постоянно возобновляемом решении не возвращаться к «прежнему порядку» (о котором напоминают беззвучно кричащие волгнувшие вещи) основывается дефицит значимости. И он заполняется созданием событий, разворачивание коих представляет единственный смысл существования этих людей. Смыслом может среди них считаться то, что они скажут и что о них подумают из их слов, и независимо от них никакие смыслы права существовать не имеют. Даже сами они, как высказывания – не должны быть услышаны и увидены никем. Имена – преграды для людских смыслов, внутри имён существуют допустимые, ручные смыслы, с которыми можно иметь дело. Люди убеждают себя, будто это – единственно существующие смыслы. И поэтому неименуемое бессмысленно, и поэтому неспособное именовать – не способно наделять смыслом. Но неспособный именовать являет собой смысл безо всякого именования. И это значит: любое именование – условно, всё, что люди считают главным и основным – либо несущественно, либо может развернуться и безо всяких разговоров. Настолько несущественна их людская существенность. Их «язык истёрся и устарел». В таких условиях молчание становится «лучшим языком», а бессмысленность перестаёт быть бессмысленной. И тогда отказавшийся от именования, вовсе не отказывается от смысла, хотя о нём можно думать всякое: либо у него «безъязыкая душа», либо он «бессознательно, необъяснимо, но непоколебимо отказался от речевой деятельности», либо он «читает иероглифы несуществующего языка», либо он «говорит на собственном языке», либо он просто невнятно бормочет, не дотягивая до «нормальных людей», поскольку «русский не может не понимать родную речь». Ведь дело в том, что все эти либо-либо ни к чему не приведут: нам никогда не узнать «правды», хотя бы потому, что она не вмещается ни в один из этих вариантов, такая правда – за пределами именования. Если угодно – она сразу все они и ни один из них.

Люди видят – независимо от того, как они настойчиво заговаривают своими сплетнями и беспокойно забалтывают своими домыслами – что существовать можно и без всего этого их, кажущегося им единственным, смысла. Это – невыносимая правда. От неё можно умереть, настолько всё становится неуютным. Люди хотят измерить эту невыносимость, приручить её: отказ от речи – это *больше* или *меньше* приятия её? Сама подобная формулировка вопроса ставит отказавшегося от речи на одну шкалу измерения с применяющими её. Если это больше, то

перед нами – тоже своего рода божий человек, святой. Если это меньше – то он просто дурачок, недоразвитый. Но понять насколько бессмысленна подобная попытка сравнения говорящих и отказавшегося, сможет лишь тот, для кого речь – это не заговаривание собственного существования, но единственный путь спасения, кто способен «жить в словах». Его могут звать как угодно, назовём его кузнецом. Он умеет хорошо говорить о том, как он вообще не умеет говорить.

В любом случае, между словами имеется молчание – да будет оно «провозглашением зачарованной речи». Отказавшийся от речи «наделяет смыслом бессмысленное». Но мы сами, как существующие, разве не делаем того же? Другое дело, что мы не ответили на вопрос: что говорит безъязыкое человеческое наше существование, которое наделяет смыслом само себя? А кто может ответить на него?

[11]. Настроение

Мы пока не сказали, почему роман «Пустырь» – это роман о невозможности романа. Мы и не скажем этого. Лучше зададим простой вопрос: если бы читателю нужно было сделать действие, которое, будучи совершённым, оставило всё как оно было бы без этого действия, то что бы он сделал? Прежде, чем отмахнуться от этого вопроса, следует запомнить: действие обязательно должно быть совершено. И давайте откажемся от банальных констатаций, что «всё течёт, всё меняется», ведь Гераклит никогда не создавал этой балаганной песенки для зверей Заратустры.

Например, читатель поведёт пальцами руки. Хорошо. Он совершил действие? Да. Всё осталось таким же, как если бы он его не совершал? Да. Выходит, вопрос чрезвычайно простой и наивный? Да. Постойте-постойте! Откуда читатель знает, что он совершил действие, как он зафиксировал его совершение, если *ничего* не изменилось? Не получится ли здесь одно из двух: либо действие фиксируемо, и потому после его совершения что-то изменяется, хоть какая мелочь, либо оно не фиксируемо, и потому оно не совершается? И, если так, то вопрос невозможен и бессмыслен. Стоп! Невозможное, бессмысленное и не вмещаемое в комфортабельные прокрустова ложа наших привычных способов мыслить – разве это одно и то же? Если да, то с «Пустырём» придётся туго. Да, и ещё: читатель, повёдший пальцами руки и ничего не совершивший, свидетельствует об этом. Безо всякой фиксируемости собственного свидетельства. Просто потому, что он есть. Это так мало и это самое большое, что только и бывает. Речь, если она что-то и может, то она может свидетельствовать. В том числе – и о собственной невозможности говорить. И, получая такое свидетельство, мы уже имеем дело с чем-то другим.

Задачей предисловия к «Пустырю» может быть только создание настроения, при котором его чтение будет наиболее внимательным. Внимать – это и значит свидетельствовать, здесь всё понятно. Вопрос в другом: как создать настроение при помощи слов, ведь настроение – не словесно? Напротив, слова становятся собой в том или ином настроении. Задача предисловия – создать настроение при помощи слов, задача предисловия в таком случае невыполнима.

Или нет?

Михаил Богатов

Пустырь

1

И снег будет падать. Холодный и хрустящий. Хруста не будет слышно. Никто не дерзнет ступить на холодную ткань, ни у кого не хватит отваги. Белое останется белым. На снегу не будет ни одного следа. Не будет ни колеи, ни лыжни, ни тропинки. Потому что не будет ни шоферов, ни лыжников, ни странников. Не будет даже следа босой ноги. И снег будет неумолимо опускаться искристыми хлопьями. Будет падать прямо на ладони. Засыплет ладони и руки. Засыплет всё. И после этого снег всё еще будет продолжать свое падение. Засыпать засыпанное. Белить белое. Потом всегда идет снег. Ломкие снежинки застревают между фалангами и расплавляются в пустоту дробящегося времени. Всё окажется сведено к бесконечно малой величине. По-муравьиному ничтожной, но не способной утратить величие. Часы раскалываются на минуты, а минуты на секунды, но это деление не станет смертью, вместо *ничто* всегда будет оставаться *нечто*. А место *никто* займет *некто*. Снежинки бесшумно распадаются в безжалостной, неумолимой белизне, бегут от себя, но в этом монотонном рассыпании вновь натыкаются на собственные останки. Хрусткие без хруста, эти снежные косточки дробятся на мелкие, бесконечно малые осколки, но не исчезают. Даже когда умирают. Даже тогда. Они умудряются существовать в собственной смерти. Они по-прежнему не уверены. Нет никакой возможности определить момент их смерти, потому что снегопад усиливается, и на ладонях растут уже целые сугробы. Самих ладоней не видно, но снежные трещинки и складки напоминают морщинистые линии на коже. Кажется, что они в точности повторяют их. Но это, конечно, иллюзия, обман. Просто те – подлинные – линии уже забыты. Но может быть, эти – новые – будучи только образом, оказываются даже точнее старых. Хоть и не подобны им. Но всё же их подданные. Бесподобные в своей образности. Безобразные в своем подобии. Снег идет почти бесшумно. И всё-таки можно расслышать едва ощутимый, убаюкивающий шелест. Очень тихий. Почти молчащий. Как утробный шёпот. Шёпот, который должен вот-вот затихнуть. Шёпот, который уже стих настолько, что даже нелепо называть его шёпотом. Шёпот, который уже умолк, но продолжает звучать. Говорить с самим собой. Какая-то разновидность молчания. Воспоминание о речи. Гул умирания. Тишина. Наконец, тишина. Молчание.

Но с этим молчанием что-то не так. Оно ещё не окончательно. Или всё-таки речь? Но тогда – речь, которая не требует голоса. Речь, предназначенная для слишком тонких ушей. Если, конечно, представить на мгновение, что существует столь тонкий слух, столь чуткие уши, что способны расслышать этот шёпот пустоты. Вернее, даже не шёпот, а его отголоски, которые по инерции принимают за звук. Или просто пока не придумано нужного слова для определения этого звука, похожего на шептание, но слишком тихого, чтобы быть шептанием? Станет ли кто-нибудь измышлять это слово? Ведь это еще сложнее, чем ступить на снег. Во всяком случае, не менее страшно. И так же безнадежно. И тоже босиком. А едва слышные слова уже падают, и теперь уже не прекратят своего падения. Они ложатся белыми лепестками на холодные ладони. Молчаливо и величественно. Да, да, молчаливо, ведь это еще не высказанные, не изреченные слова. И потому они, как снежинки, не могут растаять. На ладонях растут сугробы. Вне, а не внутри. Ведь в ладонях ничего нет. Сами ладони пусты, они заполнены пустотой. Дробящейся пустотой. Множащейся пустотой. Пустотой, еще не ставшей пустотой. Но воплощающей в себе это стремление. Пустотой, оставшейся только стремлением к пустоте. Пустотой, уже уставшей от пустоты, но так и не ставшей ею. Впалыми устами шепчущей то, что принято называть *тишиной*, и не принято называть *шёпотом*. Пустотой, не принятой в пустоту. Пустотой, упустившей пустоту. Вдвойне пустой? Или не до конца пустующей? Шёпотом, упавшим на уже

несуществующие ладони. Ничего не несущим. Сущим? Ничего не говорящим, но несмолкающим. Называющим неназываемое, проговаривающим произносимое. Вышелушивающимся из тишины. Застывшим между бесконечностью, которой уже нет, и чем-то еще не оформленным, безмянным. Безвременной точкой перехода. Непрекращающимся, безличным шёпотом, который не станет речью, но останется общением, нищим общением. Замусоленным снегом. Замерзшим и соленым. Мягкий пух впивается в кожу мелкими осколками. Несравненная гармония ваты и стекла. Сугробы растут так быстро, что бледно-алые точки едва заметны, и они никогда не станут заметны. Нет, будут. Эти стигматы обязательно будут различимы. Когда снег растает. Если снег растает. Пусть он когда-нибудь растает. Растает сразу, как только губы разучатся вышёптывать тишину. Как только босая нога сделает первый шаг.

2

Свет был каким-то зыбким, почти голым. Он крошился мелкими, озябшими зернами. Желтые капли разбивались о спину и стекали вниз по плечам, рукавам, грубо залатанному холщовому мешку, который волочился по мокрой земле. Солнце струилось по спине, а пот – по лбу. Точно так же в пасмурную погоду лицо становилось мокрым от дождевых капель. Но, будь то пот или дождь, капли вечно попадали прямо в глаза, мешая разглядеть дорогу. Вернее сказать, не дорогу, а ту неприметную, замаранную перегноем листьев полосу на грязи, которая на поверку могла бы оказаться тропинкой, но это была бы лишь еще одна условность в списке случайных названий. Слов, которые давно потеряли всякий смысл. Некоторые капли не сразу стекали вниз по лицу, а ненадолго застревали в бровях, но достаточно было четырех-пяти шагов, и они прыгивали в глаза. Он не любил прибегать к помощи рук, чтобы избавиться от этих водяных осколков, стараясь отделаться от них с помощью моргания и подергивания головой. Со стороны это могло напомнить движения собаки или какого-нибудь другого намокшего животного, пытающегося стряхнуть с себя воду. А его длинные руки безжизненно болтались вдоль худого тела, как полые, не заполненные плотью рукава старого плаща. Он отчаялся просить их о помощи с тех пор, как осознал, что ему далеко не всегда удастся ориентироваться в пространстве. Порою, он останавливался, боясь споткнуться о какой-нибудь предмет, чаще всего – бревно, которое лежало в добрых двадцати метрах от его тропинки. Но он, не замечая этого, приседал на корточки, пытаясь откатить его со своего пути. И иногда ему требовалось несколько минут, чтобы понять, что он толкает ладонями воздух. Возможно, главной причиной этих недоразумений было то, что он до конца не ощущал пределов собственного тела – они были так же далеки от него, как и большинство окружающих предметов. Поэтому он решил идти, не делая лишних движений, опустив костлявые руки вниз, и лишь время от времени мотал головой, чтоб избавиться от капель в глазах. В пасмурную погоду, когда брызги с мокрой бороды разлетались в разные стороны, казалось, что они нарушают стройный порядок движения летевших с неба потоков, превращаются в крохотные, зыбкие плотины на пути непроницаемого течения. Словно упрямые дезертиры, эти брызги, осознавая безнадежность своего сопротивления, из упрямства продолжали противоречить силе тяжести. Они перечили течению. Как птицы, отбившиеся от стаи. Как пули, не пожелавшие лететь в мишень. Когда же стояла жара, они беспорядочно врезались в теплый воздух, словно зерна в землю, но растворялись в этой душной пыли еще быстрее, чем в прозрачном водяном потоке. Разницы почти не было. Во всяком случае, он сам давно не ощущал особых отличий между жарой и холодом. Научился приспосабливаться к погоде. Дождь или пот. Не всё ли равно? Его руки болтались вдоль тела. Он почти не поднимал их. Может быть, где-то глубоко в подсознании у него прописалось, что поднять руки – означает сдаться. Да, он был дезертиром, который собирался сопротивляться до конца. Хотя и не помнил, с кем надо сражаться. Отбиваться уже было не от кого. Он прибегал к помощи рук разве что для того, чтобы поправить веревку на плече. Иногда это выходило быстро, но порой занимало несколько минут. И в этих скупых жестах было что-то отчаянное. Его босые ноги, плохо спрятанные в футлярах потрескавшейся кожи старых сапог, были расцарапаны и забрызганы грязью. Черные лужи еще не успели просохнуть после проливного дождя, обрушившегося на лес прошлой ночью. Этот ливень напомнил деревьям о том, что осень уже вплотную приблизилась, и нет никакого смысла пытаться удержать на ветвях жухлую листву. И лес не стал возражать. Сморщенные клочки листьев летели вниз, как смятые листы бумаги, выброшенные негодным писателем. Листья облепляли сапоги, и из-за этого ноги казались вросшими в землю, отчего становилось тяжелее двигаться дальше. Он смотрел на серо-коричневую грязь, исполосованную едва приметными линиями теней, отбрасываемых деревьями. Эти полустертые, тонкие шрамы то исчезали, то вновь проявлялись, и время от

времени выступали над землей так, что об них, казалось, можно было споткнуться. Поэтому он ни на миг не отрывал взгляд от дороги, чтобы ненароком не зацепиться за тени ногой. Но всё равно иногда спотыкался, ведь из-за капель в глазах он видел всё размытым, затуманенным, нечетким. Пот; ливень; конечно, можно принять во внимание и последний из известных людям способ возникновения капель внутри глаз – плач. Но этот способ не был знаком бродяге. Или, вернее, давно был им позабыт. Скорее всего, когда он был ребенком, с ним и случалось что-то подобное, но он уже не помнил, что стряслось с ним тогда, в детстве. Ему казалось, что грязь под его ногами, сгустившаяся с годами в некое подобие дороги, не покидала его с самого рождения. Он шел сквозь деревья без малейшего осознания своего направления. Не искал он и выхода, он уже не был уверен, что могло существовать что-то за пределами леса. Настолько он свыкся с этими спутанными, серыми, и лишь изредка вспыхивавшими рябиной ветвями, объятными горько-пряными запахами полыни, трухи, червивых грибов, болотного пара и мха. Но тусклая полоска под его ногами, напоминавшая зарубцевавшуюся царапину, затертую линию жизни на покрытой грязью ладони, подавала ему таинственные знаки, как зыбкий, шербящий горизонт маяк или робкие призывы далекой кукушки. Изрытая, перекрещенная корневищами дорога была последней из тех, с кем он сохранил какой-то особый контакт, возможно, лишь она и заставляла его идти дальше. Впрочем, если предположить, что он добрался бы до того места, где тропа прерывалась, растворяясь в жидкой, хлюпающей грязи, то, скорее всего, он долгое время по инерции продолжал бы свое движение, погружая ноги в черный компост прокисшей земли, похожей на жидкое, прилипчивое тесто. Возможно, так оно и было сейчас, а тропа была только воспоминанием о тропе. Наверняка, так оно и было. Образ дороги. Но, пожалуй, этот сохранившийся в памяти образ был важнее реальности. Намного важнее. Ветка, на которой болтался заплатанный мешок с вещами, натирала ему плечо. Боль вряд ли могла быть сильной, но временами ему казалось, что, прорезая лохмотья, ветка впивалась в кожу, как проволока. И если бы ему в голову пришла мысль повеситься на ней, то, наверное, это было бы равносильно решению перерезать горло бритвой – настолько легко эта жесткая бечева вошла бы в худую шею. С такой беспечной легкостью нож разрезает кусок хлеба. Но эта мысль о перерезанном горле показалась бы ему едва ли не более нелепой, чем идея продолжать свое бесконечное путешествие. Путешествие, у которого не было ни отправной точки, ни конечной цели. Ни прошлого, ни будущего. Не было и настоящего. Не было ничего, и, прежде всего, – не было самого ощущения времени. Только сгустившаяся в дорогу грязь. И больше ничего. Нет, еще капли в глазах. Эта скопившаяся влага, отражавшая кислые гримасы подслеповатого неба. Капли, напоминавшие слезы, даже по вкусу. Вернее, ему казалось, что вкус слез должен быть таким. А может, он ошибался, и всё-таки это были самые настоящие слезы, а вовсе не дождь, смешанный с потом? Кажется, он не был до конца уверен. Или просто не задумывался об этом. Но продолжал продвигаться вперед, вслушиваясь в лесной шум. Он любил все эти знакомые шорохи, хрусты, шелесты и шуршания. Каждое дерево здесь шептало по-своему. Забрызганные грязью сапоги послушно оставляли на земле новые следы. Или наоборот, ноги ему уже не подчинялись? Скорее всего, они по привычке продолжали бы идти, даже если бы он принял решение остановиться. Хотя через какое-то время, наверное, остановились бы. По собственной воле. Или под тяжестью облепившей их листвы. Возможно, и так. Во всяком случае, его замутненный взгляд не давал никаких разъяснений. Осунувшееся лицо было непроницаемо. Мокрая, давно не стриженная борода. Поседевшие брови. Затуманенные глаза, в которых лишь мельком угадывалась странная мука. Когда плечо уставало, он принимался волочить свою сумку по земле, и рядом со следами от сапог в грязи образовывалась извилистая полоса лыжня от старого, затянутого бечевкой мешка. Если бы ему захотелось вернуться обратно, он смог бы проследить какой-то отрезок своего пути по этим несуразным приметам.

3

Веки вздрагивали. Прорывая сумеречные завесы, багряный, пышущий жаром обломок выпрастывался в живое пространство и претерпевал все муки рождения. Железо изгибалось, раскалывалось, распадалось на куски, рвалось, размякало, растекалось, снова твердело, змеилось и затягивалось в узел, но, несомненно, – существовало и ознаменовывало жизнь во всей ее неповторимости, своеобразии и сложности. Узловатые механизмы мускулов двигались под плотной тканью блестящей от пота кожи, одеревенелые, затянутые рукавицами пальцы вцеплялись в рукоятку, а обожженные губы были плотно сомкнуты в пульсирующем напряжении. Форма создавала пространства и одновременно образовывала невидимые препятствия, в которые тут же упиралась, и которые вновь заставляли ее продолжать бешеное чередование суставов: заплетаться в узлы, взрываться и ветвиться, прокладывать путь по рваному, неточному маршруту. Но именно эта череда противопоставлений становилась источником первородной энергии, все эти антиномии оказывались героями единого действия – распадающимися и конфликтующими, но одновременно стиснутыми и неразлучными парами, без высвечивания поразительных сходств и непримиримых различий которых путь формы никогда не способен начаться. И даже первый шаг по этой зыбкой дороге вынужден будет впитать все непреднамеренные нахлесты и неуправляемые взаимопроникновения. Язык облизывал соленые губы. Но неужели превращение в гвоздь, да, да, в обычный гвоздь, неотличимый от сотен таких же вытянутых, со временем покрывающихся сыпью ржавчины штырей, неужели рождение этой оболочки, пожалуй, самой банальной из всех возможных, стоит хоть сотой части всех мук, страданий и надежд? Шляпки гвоздей можно было делать круглыми, квадратными, даже придавать им форму пирамидок, но стоило ли расценивать это мнимое разнообразие иначе, как издевку?

Он поднял глаза на запотевшее окошко. На единственное маленькое отверстие, сквозь которое в мастерскую мог проникать дневной свет. Но в действительности даже в самую жаркую погоду (если sluкавить, предположив, что таковая могла здесь случиться) сквозь это мутно-агатовое стеклышко в помещение почти не попадали лучи, и темнота моментально поглощала их, не давая рассеяться. Еще при строительстве он решил, что если на улице никогда не бывает солнца, то нет особого смысла в окнах, и всё же неизвестно зачем оставил одну крохотную форточку – примету собственной слабости, нежелания расставаться с мыслью о возможности света. Порой ему хотелось заколотить и это окошечко досками (как делают с заброшенными домами), чтобы, наконец, избавиться от последних призраков ненадежного, мучительного полусвета. Но иногда (как сейчас) ему мерещилось яркое солнце. Он ненавидел эти лживые мгновения, но ничего не мог с собой поделать: ему казалось, что с секунды на секунду в узкую амбразуру хлынет непривычно яркий, зловещий дневной свет, который заставит мастерскую скорчиться и стыдливо зажмуриться. Никакого яркого солнца, конечно же, не было, через наволочь облаков, словно сквозь слой пыльного муслина, как всегда процеживалось какое-то бередящее мерцание, слабое подобие света – блеклого и пустого. Сложно было судить, занималась ли заря, или это был какой-то странный обман зрения. От легкого порыва ветра за его спиной скрипнула дверь. Но он не стал оборачиваться. Он был уверен, что это ветер. Его помощь теперь не так уж часто требовалась жителям деревеньки. К нему редко кто заходил. Особенно в такую рань. Да и жил он совсем на окраине. Эта дверь никогда не запиралась. Ему даже не хотелось чинить ее, поэтому она обреченно болталась, почти соскочив с петель, и поскрипывала от сильных порывов ветра. Тот же самый ветер сквозил из всех многочисленных пазов и трещин в стенах его мастерской. Помещение обволакивал влажный холод, это была не приятная летняя прохлада, образуемая тенью исполинов-деревьев, а нездоровая

сырость подземелья, встречающаяся в погребках и подвалах. Ее не способен был скрыть даже впитавшийся в стены запах дыма, который струился от сгорбленного кузнечного горна.

Мастерская кузнеца располагалась на заросшем папоротниками и таволгой склоне оврага, с противоположной от деревенского погоста стороны. Дом этот казался свалочным жильем. На первый взгляд было даже неясно, разваливался ли он от времени или так и был когда-то брошен не достроенным до конца. В окнах не было рам; крыльцо было усыпано мелкими обломками шифера – последними приметами обвалившегося навеса, с балок которого свисал обугленный клочок рубероида. Прохудившуюся крышу мастерской едва прикрывали поржавелые пластины железа – обшлага их углов загнулись так, что скукоженные металлические листы могли, как корыта, вбирать в себя воду. По всей мастерской были разбросаны жалкие полуистлевшие инструменты: гвозди, скобы, шила, мотки проволоки, долота, зубила, железные осколки, сверла, выптербленные крынки, напильники, киянки, клещи, деревянные обрубки, – всё это было свалено между сколоченными из некрашенных досок табуретами и верстаком, на котором громоздился ящик с гвоздями. Вещи молчали и притворялись мертвыми, казалось, что если не прикасаться к ним в течение месяца, то они навсегда исчезнут. Но он иногда любил делать из этого материала какие-нибудь странные конструкции – вроде жутких капканов, которыми завесил все стены. Как гигантские железные пауки они распяливали в пространстве свои лапки, словно намеривались дотянуться до висевших неподалеку топоров, тесаков, набитых чем-то мешков, смятого дождевика и затертой шляпы. Всё это казалось ему странными этюдами его собственной жестокости.

Отблески огня едва освещали отдающее черноватой синевой лицо, верхняя половина которого спряталась за космами длинных, начинавших сесть волос, подвязанных на лбу веревкой, а нижняя – была укрыта густой, доходившей почти до груди бородой. Несмотря на высокий рост, кузнец имел нездоровый вид: ввалившиеся щеки, подведенные черными кругами глаза, в которых плескалась мутная жижа. Он думал о том, что надо продолжать работу. Но это напоминало ему о неприятном. О странной боли в груди, которую не хотелось признавать, но с каждым ударом по наковальне она напоминала о себе. Ему казалось, от этой непонятной боли у него даже начала отсыхать левая рука. Любому лекарю это предположение показалось бы глупостью, но для него самого оно было доказано необъяснимой логикой, к тому же он не особенно жаловал достижения медиков.

Странные припадки давно преследовали его, посещая довольно редко, но не так, чтобы он совсем забыл об этих провалах в ночь. Непрестанно увеличиваясь, боль, зарождавшаяся теплым тлением, растекалась по грудной клетке и доходила до той крайней степени, когда наступало умопомрачение. Ему казалось, что кто-то рвет ножом или сверлит ему грудь изнутри. Колющая, саднящая боль дробила и мельчила само вещество жизни, шевелившееся внутри его тела. Жуткий зуд перемежался от рук к ногам и отдавался в голове звенящим хрустом. Его глаза непроизвольно наполнялись слезами, делая взгляд мутным и отсутствующим. Тело немело от ожидания обморока, отчего начинало щипать в носу. Пульс замедлялся (или ускорялся?) настолько, что он забывал о его существовании. И сквозь затуманенный воздух ему мерещилась смерть, ему казалось, что захоти он ей подчиниться – она заберет его. Впрочем, он толком и не сопротивлялся. Значит, это она не принимала его, как будто выжидала более подходящего момента. Отпускала же боль всегда также странно и внезапно, как и появлялась. Истекали пять минут, и кости уже не ломились, голова ясна, а невыносимое жжение в груди улетучивалось. Проходило это от припарок – прикладывания полотенец, в которые была завернута горячая зола.

Этой ночью он проснулся от какого-то странного шума. Когда он поднял голову, то уже не услышал ничего необычного, кроме едва различимого свиста ветра, который, как всегда, буравил стены его мастерской. Видимо, сам шум ему тоже приснился. Ему всегда казалось таинственным, что во сне может произойти что-то такое, что способно прервать само сновиде-

ние. И он машинально закрыл глаза ладонями, словно хотел втереть сон обратно внутрь глаз. Но вспомнил, что во сне ничего хорошего и не было: всю ночь вокруг него опять копошились какие-то оборванные люди, худые и уродливые. Они передвигались молча и обреченно, как бремя всего, что могло случиться, но не случилось. Но у худосочных стариков были лица отпечатавшихся головорезов, которые, несмотря на свой преклонный возраст, были способны на любую отчаянную выходку. Странно, ни одно из лиц не было ему знакомо, но при этом не было и совершенно чужим. Хотя он толком не мог их разглядеть. Он не мог вспомнить момента, когда они вошли. А они всё выплывали из темноты, монотонный гул их шагов не прекращался, собралась целая толпа, похожая на огромный комок человеческой плоти – уже не было свободного места, но люди всё не переставали входить в помещение мастерской. Он никак не мог понять, с какой целью они шли к нему, чего они хотели. В голове отдавался беспорядочный гогот их тяжелых шагов и запыхавшихся голосов. На стене плясали длинные тени, отбрасываемые их костлявыми фигурами. Его разум был замутненным, словно во хмелю или в бреду; прошло немало времени, прежде чем он осознал, что они несли что-то тяжелое и громоздкое. С каждым их шагом сердце начинало колотиться всё сильнее. Наконец, он увидел, что эти хрусткие тени тащили огромные кастрюли с какой-то жидкой грязью, то и дело спотыкаясь и проливая жижу. А те немногие остатки, что плескались на дне их ржавых мисок, худые, исцарапанные старики подносили к его лицу и, приподнимая веки, выливали ему в глаза. Он же спал, и ничем не мог им помешать. Он не призывал их, но и не имел никакой власти помешать их появлению. Его онемевшее тело тоже мало-помалу превращалось в эту тягучую, разноликую, удушающую себя массу, которой плоть могла противостоять только бешеной судорогой и конвульсией. Проснувшись, он прикоснулся к лицу, и ему показалось, что кожа пропитана липкой влагой.

Вспомнив все детали, он решил встать с полатей, накинул кожаный фартук, закопченный и прожженный во многих местах, подошел к умывальнику и, всплеснув лицо холодной водой и размазав по лбу копоть, принялся за работу. Уже прошло около двух часов, и вот теперь он стоял и вновь вспоминал этот сон, уставившись на брызги ржавого пламени, отбрасывавшие острые тени на его руки, словно вытатуировывая на его коже контуры странного сна. Будто это видение стремилось вопреки логике и здравому смыслу безнаказанно переключиться в явь, претендуя на нечто большее, чем роль болезненного вымысла. И вдруг он провел бессознательную параллель между этим странным сном, несостоявшимся светом за окном, своими припадками и судорогами выковывываемых им металлических конструкций. Он осознал, что его переживания, с их нескончаемыми противоречиями, были точной копией этих мучительных родов пространства. Он не мог понять, что происходило, – не то он продолжал бодрствовать внутри своих снов, не то оставался спящим уже после пробуждения. И он стоял, растерянный, с бессмысленным взглядом, словно пытаясь нащупать нить, соединявшую одно с другим, но она ускользала от его пальцев.

Наверное, он мог бы стать скульптором, если бы был чуть тщеславнее. Ведь он хранил в себе это чувство разворачивания пространства, заполнения бездны, которое, как ему казалось, должен испытывать ваятель. Еще в детстве любимым его развлечением было кричать в пустые бочки, прислушиваться к затихающим отзвукам эха – он даже специально опрокидывал их, опорожняя от зацветшей дождевой воды, чтобы наново заполнить полость криком.

Напившись по горло тишиной, он весь обращался в собственный вопль и старался перекричать эхо, чтобы проникнуть в безмолвность и добыть из нее звук. Позднее, подростком, когда он однажды обнаружил свое тело рядом с теплым телом знакомой девушки, он ощутил то же самое, тот же страх пустоты и одновременно ее притяжение. Столь обособленные, сколь и влекомые друг к другу, распавшаяся, они всё же продолжали удерживаться за самих себя красотой этого влечения. Запах ее тела был отталкивающе чужим, но при этом – чарующим. И он никак не мог примирить брезгливое отвращение прикосновения к чужому телу с неконтроли-

руемым и нарастающим желанием дотронуться. И неприятно вздрагивал, когда прикасались к нему. Тогда он еще не представлял, что бывает иначе, что это противостояние может отсутствовать. Теперь же это навсегда закончившееся *иначе* казалось ему бунтом против природы, подавленным восстанием. И он до сих пор никак не мог разобраться, чем оборачивается вторжение в пустоту – кровавым осквернением или посвящением в магию вечности. Это чувство не было ни страхом, ни восторгом, ни любопытством, и одновременно было и тем, и другим, каким-то экстатическим волнением. С тех пор неполнота бытия начала видаться ему повсюду, она подстерегала его буквально на каждом шагу. Но пустота никогда не была для него небытием, она была лоном пространства, ему хотелось заполнить эту негативность живой материей, которой он способен был придать форму. Поэтому и спертый воздух подземелья был для него живительнее кислорода. Оборудовать пустоту – вот к чему он всегда испытывал бессознательное влечение. Он видел начало великого открытия в этой истонченности и взрывчатости форм, в их узловатом схлесте и переплетении, во всей этой вывороченности железных ребер и распиленных на части позвонков, в обнаженности живых разломов, в глубине пылающих ран. И его интересовал не столько итог, сколько сам ход гудения искр и рождения формы, одновременно тяжеловесной и воздушной, замуровывавшей себя и вырывавшейся за все возможные пределы. Форма выплескивала, выворачивала наружу скрытое в тишине пространство. Искры выныривали из темноты и, как золотистые мальки с едва оформившимися плавничками, на несколько мгновений грациозно повисали в воздухе и потом снова устремлялись ко дну. Он сам напоминал себе такую рыбку, чередующую бесконечное затаивание в темноте с кратковременным упоительным выбрасыванием тела в холодный, обжигающий жабры воздух. В те редкие часы, когда он брался за новую работу, он как будто выныривал из сна, хотя еще за минуту до этого ему казалось, что он давным-давно отошел от всепоглощающего поиска, превратив его в унылую рутину, исключаящую любые открытия. Но вопреки всему выходило, что этот безостановочный поиск стихийно продолжался, удивление не ослабевало, и вселенная опять превращалась в предмет бесконечного подступа. Поэтому собственная мастерская, которую посторонние могли принять за обыкновенную свалку, казалась ему священным пустырем перевозанных обломков, из которых можно было создавать безбрежные пространства. Эта свалка была для него великим хаосом, таинственным хранилищем – той точкой, из которой в любой момент была способна произрасти новая реальность.

Но существовала и обратная сторона этой стихийной философии: перед ним неизменно оставался лишь тусклый, плоский строительный материал – жалкая лава, застывшая в заранее готовой формочке, сплав, который потерял память о своем рождении из огня, застывшая пена, уже не мечтавшая о прежнем буйстве, а ставшая лишь заведомо известной функцией – гвоздем, который войдет в древесину гроба. Все производные неизменно сводились к смерти, к тому отсутствию, которое становилось бесконечной и беспощадной репризой, очередной точкой отсчета для новых стараний, мечтательной, возвращавшейся саму в себя безмолвностью, не принимавшей никаких стараний. Эти формы, которые не терпят эскизов, казалось, были осуждены на то, чтобы навсегда остаться недомолвками и набросками. И каждый раз, мчась вниз по ступенькам, он сталкивался с самим собой, спешащим наверх.

4

Проснувшись, он откинул от лица башлык и ощутил нестерпимую тишину беззвездной ночи. В разреженном воздухе не было и легчайшего дуновения. И зловещее затишье порождало пронзительное чувство опустошения. Его угнетала эта гробовая, необъяснимая тишина, в которую нельзя было ни всмотреться, ни вслушаться, в которой можно было только утопать, как в чужой, темной воде. Ни светляка на траве, ни лунного луча, даже скелеты кустов не угадывались в смолистом тумане. Ночь воплощала в себе чудовищное отсутствие, способное впитать в себя всё живое. Казалось, в ней не было ничего, кроме ее собственной темноты, тонувшей в самой себе и самое себя поглощавшей. Он привык доверять звукам; когда же он не ощущал вокруг себя гула природы, этих тресков и шумов, сливавшихся для него в единое ощущение жизни, ему казалось, что он тонет в мертвых заливах бархатистой темноты, падает вниз в узкий бездонный колодезь, чтобы оказаться запертым за задернутыми черными портьерами в каком-то маленьком тесном помещении без намека на двери или окна. Он пытался разглядеть это темное пространство, но не мог толком различить даже его границ – оно одновременно было и затхлым карцером, и бесконечно простирающейся степью. И в этой маслянистой тьме у него появлялось ощущение, что со всех сторон к нему безмолвно тянутся чьи-то шарящие в темноте руки. Да, он был уверен в том, что они ищут его тело. И он ни за что не протянул бы руки навстречу. Не было никаких сомнений: из черноты к нему приближался кто-то, невидимый, но неотвратимый. Двигаться на ощупь в темноте, шаря руками в воздухе, нет, он никогда бы не стал этого делать. Черневшая неизвестность была ловушкой, капканом, в который ему не хотелось попадаться. Или всё было наоборот – лес намеренно, словно рассердившись на него за что-то, выгонял его прочь за свои пределы, вытеснял его этой ненавистной тишиной? За столько лет он так и не научился не путать знаки, подаваемые ему лесом. Но в любом случае долго выносить тишину было невозможно. Дрожащая ночь ужасала этой мертвенной тишью, в которой даже собственное дыхание казалось ему неуместным. В темноте не было ни привычной лесной музыки, ни струящегося шуршания дождя, ни хлюпанья грязи, ни тихого шёпота осоки, а взгляд, едва обретя опору, снова тонул в вязкой, замкнутой в собственном молчании черной смоле. Даже самые ничтожные похрустывания и шорохи умерщвлялись ночью, стерегущей зябкое безмолвие, нарушать которое позволялось лишь предавшим живое всплескам крыльев ночных бабочек. Он не любил этих бледных безжизненных мотыльков, чьи стеклянные глаза были наполнены пустотой и не двигались, навсегда застыв, как засохшие капельки воска. Даже их дергающееся трепыхание было лишь неуклюжей подделкой под полет, казалось, что бабочки появлялись из самой смерти и, светясь меловой белизной, устремлялись к нему из глубин бесконечной мертвенности, чтобы облепить его лицо и каким-нибудь странным, известным им одним способом навсегда высосать жизнь, этот зыбкий наполнитель плоти. Ему было неизвестно, что гибельные бабочки боятся обычного папиросного дыма, к тому же всё равно у него не было ни папирос, ни спичек. Если бабочки подлетали к его лицу, то это был тот редкий случай, когда он прибегал к помощи рук, размахивал ими, чтобы отогнать омертвевших насекомых. И в эти моменты он не промахивался. Бессильные длани превращались в беспощадных палачей, рубивших наотмашь, так что жертвы оказывались далеко отброшены и, как скомканные пожухлые листья, падали в мокрую, пахнущую древесной трухой и пряной хвоей мякоть мха. Он с облегчением вздохнул, только когда скорлупу темноты проклюнули бледные ростки рассвета, мгла посерела, и лес снова начал наполняться жалобными стрекотаниями – привычными, обыденными звуками. Бояться уже было нечего.

От мокрой травы поднимался матовый пар, какой бывает над тлеющим пепелищем. Но утренний свет постепенно разъедал туманную дымку, обнажая курган, на склоне которого заночевал бродяга. Метрах в пяти от мешка, служившего ему подушкой, он обнаружил мши-

стый пенёк, всю поверхность которого покрывали маслянистые шляпки опят. Обрадовавшись находке, он подполз к трухлявому пенёку и нарвал полные ладони этих ломких гвоздей, наживленных в подгнившей древесине. Несмотря на голод, он с минуту поразглядывал хрупкие, поблескивавшие влагой, беззащитные тельца-стебельки и бледно-желтые изнанки пор. Мокрые от дождя и утренней росы, опять благоухали сразу всеми ароматами старого леса. Крохотные капельки, казалось, не нападали сверху, а проклюнулись изнутри, из-под прозрачно-бежевой кожицы, как будто кровью этих тонких стеблей были слезы. Затем, смяв блестящие шляпки и ножки в рыжеватую липкую кашу, он принялся утолять голод. Сырые грибы были для него изысканным лакомством, ведь обычной его пищей служили корни и травы. Несколько грибов зацепились за бороду, но почти сразу соскользнули на землю, лишь два изогнутых зонтика так и повисли забытыми в косматых складках. Наевшись, он вытер руки об лохмотья, поднялся с земли и, повесив ношу на плечо, пошел вниз по отлогому склону сквозь мокрые заросли. Сырые, укрытые вялой листвой ветки хлестали его, как солдата, проходящего сквозь строй. Вода стекала по лицу, и он глотал ее, пытаясь утолить нестерпимую жажду. Мокрые розги били наотмашь, и ему казалось, что он сглатывает собственную кровь. Его немного удивляло, что кровь с годами стала настолько безвкусной, утратив приятную солоноватость. А ветви всё больше преграждали ему путь. Теперь было похоже, что озлобленный лес всеми силами пытался остановить, удержать своего непослушного, непутевого сына, устремившегося в чужие, незнакомые окрестности. Но он упрямо продолжал спускаться в низину, и желтоватая зелень деревьев неуклонно редела, а заросли травы и россыпи порыжелых сосновых иголок сменялись мшистыми овражными ущербинами и ямами, инкрустированными серым лишайником и служившими убежищем для ужей и улиток, скрывавшихся в перегное палых листьев.

Выбираясь из зарослей, он всё чаще натывался на странные обломки гнилых бревен и каменные осколки. Мало-помалу он стал замечать нелепые, непохожие на деревья трухлявые брусочки, воткнутые в землю и чем-то напоминавшие намеревающихся взлететь цапель или исхудавших людей, обреченно раскинувших руки. Он не осознавал, что, плетясь по склону кургана, он забрел на заброшенный погост и оказался окружен полуобвалившимся частоколом обветшалых и гнилых от влаги крестов. Многие из них были надломлены – не то ветром, не то временем, не то людьми, бродившими здесь в поисках дров, – и их обломки валялись прямо на земле, как отсыревший хворост. В пузырившемся месиве жирной грязи невозможно было различить контуры могил, надгробий сохранилось немного, а на почерневших от дождей крестах не было ни имен, ни дат жизни. Кладбище тянулось вниз по болотистому склону. На одном из покачнувшихся крестов сидела тощая ворона. Она чистила перья и время от времени пощипывала мелкие ягоды рябины, гроздь которых свесилась прямо над ее головой. На плетущегося путника ворона не обратила никакого внимания, словно была убеждена, что этот проходящий человек сулит ей не больше опасности, чем шевельнувшаяся от порыва ветра мокрая ветка. Кстати, именно в эту секунду множество веток покачнулось, и овраг наполнило долгое эхо вороньих криков. Бродяга поднял голову и увидел, что в тусклом, стылом небе над кладбищем, как колышущиеся кляксы мазутных брызг в огромном колодце, черной сыпью расплескались крылья взлетевших навстречу рассвету птиц. Он застал тот самый миг, который вороны единоголосно считают определяющим конец ночи и наступление дня.

Солнце закрошилось мелкой черствой перхотью, и этот полусвет пополз по земле между уродливыми и длинными тенями, которые отбрасывали трухлявые кресты, пополз всё ниже и ниже, к основанию заросшего папоротниками оврага, и, наконец, обнаружил россыпь бесформенных, погрязших в зарослях крапивы строений, раскинутых по широкой низине. Издалека эти крохотные, по-воробыному нахохлившиеся скопления приземистых домишек и сараев, в которых, возможно, уже не тлела человеческая жизнь, могли показаться похожими на те самые недостающие на кладбище надгробия – словно кто-то по ошибке или, злобно пошутив, расположил кресты отдельно от могильных камней. На фоне хмурого, едва живого рассвета

зачернели их закопченные крыши, подгнившие стрехи и печные трубы. Справа стала заметной устремлявшаяся вниз дорога. Сероватый туман чуть-чуть рассеялся, оголив старую изгородь, вдоль которой росли лопухи и редкие подсолнухи. Бледные лепестки окаймляли темные круги, в которых обычно вызревают семечки. Но здесь большинство зерен было склевано птицами, и только кое-где одинокие черные островки выделялись на фоне сетчатых коричневатых проплешин. Однако непонятен был смысл самой этой заржавелой от времени изгороди, по верху которой вилась обвисшая колючая проволока, чьи иголки впивались в рыхлую древесину, как лапки клещей в человеческую кожу. Ограда не могла защитить от проникновения в деревню воров и даже не имела того устрашающего вида, который мог остановить шаловливых детей в их намерении удрать в лес. Тут и там замшелые штакетины отвалились, сквозь прозоры сочился осенний ветер, да и столбы, на которых держался плетень, покачивались, угрожая обрушиться и раздавить подсолнухи.

С высоты было заметно, что всё селение окаймлялось извилистой речкой, расширявшейся с противоположной от кургана стороны и больше напоминавшей вытянувшуюся во всю длину огромную, заросшую камышами черную лужу продолговатой формы. Но, спускаясь к одному из излучков, он обнаружил неожиданно чистый ручей-родник, в котором напился обжигающе холодной воды. Пил он долго, с жадностью, будто в последний раз, лишь изредка бросая взгляд вниз, на мутную речку. Похоже, что речушка собирала в себя всю стекавшую по склону кургана воду ручьев и дождей, а по весне в нее еще и сползали тающие сугробы, а вместе с ними – гнилые ветки, прелая листва и иные лесные останки. Располагалась река в самой низине, вода в ней мутнела от грязи, зацветала и покрывалась болотистой сетью ряски, отчего сама река, обвивавшая селение, постепенно умирала. Казалось, что единственным назначением этой деревушки, изолированной от внешнего мира, было – превратиться в истухлое, отхожее место, в сточную канаву, во всяком случае, иной связи с окружающей природой она никогда не имела. Но лес обхватил село и речку своими мохнатыми лапами, заключив их в свои объятия, словно любимых детишек. Вся земля вокруг зацвела, пропиталась и пропахла сыростью. Может, оттого местечко и прозвалось *Волглым*. Серая, исполосованная лишаями мха табличка с названием, кстати, сохранилась на одном из покачивавшихся трухлявых столбов, но, проходя через шаткий мостик, скрепленный перилами из березовых веток, бродяга не заметил ее. Впрочем, вряд ли бы он смог разобрать название, так как давно утратил способность к чтению. Его путь преградили ворота из ржавой сетки, расшатавшиеся так сильно, что створкам уже не удавалось сомкнуться, и поэтому их связали веревкой. Он вошел через ощерившуюся обкусанными обломками гвоздей калитку, дверца которой соскочила с верхней петли и въелась своим нижним углом в пузырившуюся грязь, как севшая на мель лодка. Он посмотрел под ноги. К грязным сапогам приклеились запутанные клоки мокрой травы – последние приметы тщетных попыток леса не выпускать бродягу за свои пределы.

5

Природа вызеывала из себя последние остатки прошедшей ночи, заквашивая и створяживая воздух в размытое подобие утра. Но эти дымящиеся сумерки скорее походили на дрянной грим, неумелую подделку под начало дня: небо заволочлось плотной пеленой туч, надежно защитив землю от ярких солнечных лучей, запертых в зыбких анфиладах тумана и слишком ослабших к осени, чтобы иметь силы сопротивляться этому бессрочному аресту и раскроить плотную серую материю. Земли достигали лишь блеклые отблески затупившихся лезвий, холодные отражения, а не теплый солнечный свет.

Миновав заросший пожелтой травой и лопухами пустырь, бродяга пошел мимо одичалых подгнивающих изб, крытых почерневшим шифером, тесных землебитных домиков с окнами, заколоченными серыми досками, мимо убогих прокопченных строений из крошащегося кирпича, омшелых сараев, обваленных по низу земель, покрытой гнилыми очистками и отбросами, мимо гиблых садов, худых деревьев с никлыми, подметавшими болотистую почву ветвями, мимо заросших бурьяном и крапивой дворов, полных тишины, нарушаемой разве что доносившейся из хат утренней бранью, сдавленным кашлем да еще плачем детей. В остальном же деревню заполняла тяжелая, удручающая тишь, похожая на безмолвие безветренной и непроглядной ночи. Гнетущая, отупляющая скука была разлита повсюду, она окрашивала окрестности в еще более невзрачные тона и, казалось, даже замедляла время. Любые намеки на жизнь воспринимались как сон – столь бесплодными, прозяблыми, сырыми казались эти опустошенные холодом и молчанием края.

Покосившиеся стены таили в себе неприязнь и подозрительность, у одной из накренившихся калиток, роняя из пасти пену и захлебываясь злостью, срывалась с цепи давившаяся собственным хрипом собака. Ее кудлатый хвост конвульсивно дергался с бешеной скоростью, и утихомирить сиплый лай смогли только недовольные окрики хозяина, вышедшего на крыльцо справить нужду. Он икнул, заспанными серыми глазами бездумно проводил странного прохожего и, проворчав под нос неразборчивое ругательство, растворился в кружевной рвани пара, поднимавшегося с земли и смешивавшегося с туманом. Из соседнего заросшего паутиной окна на бродягу упал старушечий взгляд, в котором смешались отчаяние, желчь и равнодушие. Костлявый череп, приклеенный к помутнелому стеклу, напоминал бесцельно вырезанный из старой газеты черно-белый фотоснимок, истертый, пошедший трещинами и пятнами, собравший в морщинах пыль. Казалось, что лица этих людей, чьи взгляды понурились от скопившейся в глазах темноты, выцвели так же, как пропитанные влагой бревна их жилищ, став столь же безжизненными, пропахшими сыростью и безысходной злобой. Их силуэты врубцовывались в смугло-серые стены и превращались в мерклые барельефы, утопавшие в волнах бревен и полинявших балок, обвитых бахромой соломы. Бродяга и не замечал этих пыльных взглядов, вросших в пропитанные нескончаемыми дождями стены, и даже очертания домиков и изогнутых деревьев сливались для него в тусклую, теряющую очертания дымку – единую бледную массу, колышущуюся, как водоросли на дне мутного омуты.

Бродяга повернул за угол и вышел к небольшой суглинистой площади, по периметру которой располагались сколоченные из неотесанных горбылей торговые лотки и прилавки. Он глядел под ноги, на буро-коричневую, хлюпающую под сапогами грязь, невзирая на морозящий дождь сохранившую запекшиеся следы тележных колес и широких каблуков, кое-где виднелись даже очертания босых детских ног. Большинство следов, скорее всего, были вчерашними, хотя попадались и свежие ямки, возможно, их набуровили первые торговки, которые уже толклись у прилавков, выставляя принесенные товары. Но бродяга не думал о природе появления этих следов, он смотрел на развороченную ботинками грязь, словно на причудливый сложный узор. В этом тормозящемся месиве он различал бесконечно выющуюся, словно вырвавшуюся

из тисков приросшего к земле сказочного клубка змеистую нить, которая кривилась излучиной Млечного пути. Эта линия, то и дело выныривавшая из пенящегося тумана, казалось, играла сама с собой, как ласточка, порхающая перед лодкой. Полупрозрачная лента рассекалась на тысячи таких же причудливых линий, распыленных лучеобразным центробежным движением, вен, пробиравшихся сквозь тело земли, – прерывистых, нечетких полосок, скопища которых являли тайные знаки, обрывки, начатки странной завораживающей картины, высвечивавшей какое-то отброшенное, вытесненное знание. В ней одновременно виделись и древний ужас, и первозданный восторг бездонной глубины, в которую как витые лестницы опускалась путаница корней, питающих всё живое. Эти образы вычерпывались из темных колодцев прапамяти, из заплесневелых запасников времени, обнажая и гадостную грязь глубин, и неистовый свет разнужданной жизненности, и ужасающую первозданную бессмыслицу, и великое, непостижимое учение. Тысячи зашифрованных иероглифов пролетали перед глазами с такой скоростью, что даже самому рьяному угадчику было не поспеть за порханиями этой тайнописи. Но их скрытое слово сказывалось через иные предметы и образы – эти иероглифы цвета являлись свидетельством неведомой логики, языка, незнакомого реальности. И эти многоликие, не поддающиеся разгадке письма призывали лишь поспевать за проворством их бега. А ему только и хотелось, что мчать, спешить, падать и подниматься вместе с ними. Тонкие нити то заплетались в кружевные вереницы орифламм и безмятежно хохотали, то из безобидных и милых хоровадов серебристой кудели превращались в тугие лески, угрожавшие с секунды на секунду врезаться в горло, то казались тоненькими бикфордовыми шнурами, способными в один миг взорвать реальность, а порой сворачивались в коконы ракушек, на крошечных панцирях которых он различал сплетение сотен похожих на закрытые глаза чешуек. И вот уже из гротов раковин выныривали причудливые серебристые рыбы, хлопая челюстями, они начинали сновать прямо под его ногами, а к их бокам были приклеены чьи-то навсегда закрытые глаза. Глаза тех, кто отказался смотреть, кто отверг дар быть зрячим. И тогда он тоже решил покрепче сомкнуть веки, под которые начал просачиваться сумрачный дым. Стараясь идти на ощупь, он не открывал глаз, ему не хотелось, чтобы эти сумерки, разрыв глазную мякоть, проникли в его нутро ночными бабочками. Этот туман тоже принадлежал к мертвому миру – той реальности, которую ни в коем случае не следовало допускать вовнутрь. Но, споткнувшись о какую-то доску, он понял свою ошибку, и, вспомнив о руках, решил лишь время от времени отгонять ладонями опасные сгустки дыма, а глаза оставил открытыми.

Между тем, торговки продолжали распаковывать свои мешки, доставая из них лоснящиеся банки с липким вареньем, покрытые пятнами облупившейся краски бидоны с молоком и клюквенным квасом, корзины с подпортившимися овощами, крыжовником, грушами. На бродягу эти понурые тетки смотрели без всякой приязни, словно приглядывались к нему – но, разумеется, не так, как присматриваются к покупателю и даже не так, как смотрят на подозрительного прохожего, опасливо оберегая товары, – они бросали на него те брезгливые, полные мертвящего холода взгляды, которыми обычно одаривают больных проказой или колодников, словом – тех изгоев, от кого принято держаться на расстоянии. А их руки машинально продолжали раскладывать на сырых досках залежалые и дурно пахнущие луковицы, яблоки, зелень. Раз в месяц в деревню приходила грузовая машина, водитель которой оптом перепродавал бабам синеватое мясо, несвежую рыбу, дрянную водку, макароны, соль, сахар и другой городской дефицит, сразу попадавший на прилавки рядом с овощами и фруктами. Все плоды были удивительно чахлыми и имели болезненный вид. Однако торговки, похоже, так не считали, они бережно рассортировывали на прилавках тухловатые яйца, подгнивающие, покрытые черной сыпью груши и худосочную позеленевшую воблу так, словно то были не грязь,дохлятина и дряблые обглодки, а изысканные угощения. И эта старательность не была свидетельством хитрой расчетливости, нет, они правда вложили в свои творения всю душу, и их сложно было винить в том, что под этим мутно-пепельным небом, сквозь которое отродясь не просачива-

лись здоровые, свежие оттенки, им не удалось вырастить ничего иного. Сорняков в их жалких огородах всегда было больше, чем посеянной зелени, тонкой и негодной, расстилавшейся по земле бесцветной, вялой, измочалившейся ботвой. Чахлые, изъеденные лишаями стебли садовых деревьев были скупы на урожай, тонкие прутья их веток с трудом удерживали даже скрутившиеся коричневым мусором листья, что уж говорить о плодах – большая часть яблок гнила и опадала бесформенными ржавыми хлопьями в мокрую траву, привлекая внимание насекомых. И люди здесь жили под стать своей обреченной на невзгоды земле: изможденные и недружелюбные. Даже ругань этих торговков не была похожа на обычную разнузданную брань ушлых базарных баб, а таила в себе какую-то неведомую обреченность, ворчали они почти беззлобно, скорее – по привычке, как брюзжат старики. Издалека выглядевшие живыми, вблизи эти закутанные в платки женщины оказывались бледными, анемичными и бескостными, их кожа посерела, впитав в себя отрешенность дождя, не нуждавшегося ни в каких оттенках за исключением пепельного. Бродяга не мог различить ни одного лица – их черты словно были стерты сумерками, все они текли монотонно, и размытые силуэты, медленно проплывая перед его глазами, ни на секунду не обретали ни малейшей отчетливости. Все, кроме одного. Вернее сказать, он мог и не осознать присутствия человеческого, но выделил из мутной дымки нечто, отличное от серых сгустков. И при этом – нечто живое.

С противоположной стороны к пустырю подошел небольшого роста небритый мужичок с рябым костистым лицом, его рыжие щетинистые волосы, как пучки грязной пакли торчали в разные стороны, а глаза немного косили. Со стороны его можно было принять за обыкновенного забулдыгу, пришедшего на рынок, чтобы стащить с какого-нибудь прилавка кусок хлеба, пока нерасторопная торговка отвернется или наклонится к своему мешку, чтобы достать из него то, что еще не успела. Однако встречен был этот босоногий человек, одетый в оборванную цветастую рубаху, с привычным спокойствием и даже с некоторой долей приветливости: одна из женщин, отыскав среди обглоданных рыбьих голов и недоеденных овощей ломоть черствого хлеба, протянула ему крошащийся кусок, а другая налила в корчажку немного молока и сказала: «Держи, Игоша, чем можем». Прожевав полкуса хлеба и бросив вторую половину свернувшегося у его ног псу, мужичок залпом выпил мутное молоко и, одобрительно взглянув на бродягу, произнес, словно напутствие: «Да, да, шагай, шествуй, странный человек». И бродяга на несколько секунд всмотрелся в его черные, искрящиеся проказливым весельем глаза, поглядел на его лохмотья и запачканные в земле волосы, в которых застряли солома и стружки. И затем побрел дальше, а мужик, словно обрадованный тому, что странник не ослушался совета, проводил его одобрительным взглядом. Сгорбленная фигура поплелась по грязной дороге, погружаясь в курящийся туман, поднимавшийся с холодной земли, и вскоре затерялась в небытии густой пепельно-седой дымки, как камешек, брошенный в морскую пену.

6

Заканчивалось лето. Прошло оно торопливо, но как-то тихо, под горкование голубей, безо всяких сколько-нибудь примечательных событий. И к добру – в деревне говорили, что лето – не время для происшествий, не полагается, дескать, летом им случаться. Вот зима – это дело другое, сплошные скверные истории и переделки: то дрова закончатся, то в прорубь какой-нибудь мальчонка провалится, то пьяный дед насмерть замерзнет в двух шагах от дома. Хотя и от лета, конечно, здесь было одно название: весенняя слякоть слишком незаметно переходила в осеннюю молодость. Но ежедневно заглядывать в календарь и отрывать листочки с цифрами давно стало привычным развлечением. В начале каждого года торговцы привозили сюда календари, всегда один вид: настенные отрывные. В декабре все так и ждали уже, когда исхудалый оборвыш сменится пузатенькой книжицей с картинками, изображавшими богатую русскую природу, красных девиц, удалых молодцев, лихие пляски и хороводы. Но, говоря начистоту, в Волглом давно пора было отменять четыре сезона и объявлять два, потому что пять месяцев в году здесь шел снег, а остальные семь – дождь.

Утром после завтрака сельский священник Лукьян Федотыч, как и всегда, отправился прогуляться по поселку. Распорядок его дня был неизменен. Едва только рассветало, как он поднимался с кровати, наскоро съедал что-нибудь и выходил со двора. Закрыв калитку, он всегда окидывал взглядом свой старый дом, к кровле которого вместо конька был прилажен небольшой крест («Лукьяново жилье-то больше на голубец, чем на избу похоже», – пошепывали соседи). Ветер тихонько развеивал его редкую черную бороду, которую он то и дело приглаживал ладонью. Чтобы внести в ежедневные прогулки разнообразие, Лукьян Федотыч всегда немного изменял маршрут. Дойдя до первой развилки, он неизменно поворачивал в иную по сравнению со вчерашним днем сторону. Самым скучным ему казался не оставлявший возможности выбора путь до первого поворота. Улицы Волглового представляли собой потоки грязи, липнущей к подошвам как мякоть гнилых яблок. При каждом шаге калоши погружались в хлюпающее месиво и чавкали. В другое время года грязь никуда не исчезала, а разве что превращалась в слегка подмерзшую глинистую корочку. Но Лукьян шествовал по слякоти с неизменным достоинством, ухмыляясь подозрительно-насмешливыми глазами, под которыми, словно подушечки для иголок, пузырились мясистые мешочки красноватой кожи. С небес струился привычный безвременный полусвет, прозоры чердачных дыр буравил неугомонный ветер, со дворов доносилось негромкое курлыканье проснувшихся гусей и куриц. Унылое селение как всегда пропитывал нескончаемый туман. Курясь, сумрак поднимался с холодной земли, смешивался со струившимся из закоптелых дымоходов смуглым паром и вымерещивал во влажном воздухе неразборчивые силуэты, на которые священник, впрочем, не обращал ни малейшего внимания. Лукьян зевнул, вдохнув знакомую кислоту отстоявшейся дождевой воды. Его пухлые губы свернулись в овал, слегка обнажив рассыпанные, как последняя мелочь в кошелке, кривые полуистлевшие зубы и сверкающие холодом коронки.

На деревне уже появлялись первые прохожие, бабы несли от колонки блестящие цинковые ведра с водой, без коромысел – прямо в руках. Потупив взор, они здоровались со священником, и он отвечал им кивком. Ему нравилось, как они избегают его взгляда, как в суете прячут виноватые глаза, как будто бормоча в замешательстве какие-то ненужные и неуместные оправдания. В эти мгновенья он чувствовал себя как-то особенно прочно на своем месте. Он любил их смятение, робость и страх. Довольно часто Лукьяну приходилось вступать с ними в неизбежный разговор – пустой, скучный, бессмысленный, ничем не заканчивающийся, не нужный ни ему, ни им, и от этих бесед, сводившихся к обмену банальностями и избитыми словами, у него, как правило, портилось настроение. – Что новенького? – интересовался священник. – Да идут дела потихоньку... – скукоживая рябое лицо в улыбку, отвечал какой-нибудь

низкорослый и корявый мужичок. И от одного этого «потихоньку» Лукьяну порой становилось тошно, и довольство в один миг оборачивалось пыткой, одно это гадкое слово часто вызывало у него неудержимое желание яростно заорать, затопать ногами, совершить что-нибудь невообразимое. Приятное ощущение от прогулки моментально улетучивалось и сменялось конвульсивным раздражением и отвращением, бурлившим внутри тела.

Лет пять назад священник ясно понял, что глубоко презирает всех этих людей – всё население маленькой деревушки. Всех без остатка. Презирает их чувства, их бессмысленную суетную жизнь, их нахальное и простодушное панибратство, их никчемные хлопоты, их куриные сердца, мелочность их душонок и, прежде всего, их веру. Да, эта вера казалась Лукьяну ничем иным, как продолжением тупоумия и невежества, это была вера по инерции, нечто передававшееся по наследству вместе с покосившейся избой, печкой, лопатами и прочим скудным приданным. А ведь все они исправно крестили новорожденных, и даже в бане никто из них не смел снять с шеи креста, хотя никогда не задумывался о подлинном смысле крещения и едва ли осилил бы и половину Евангелия от Матфея. Крещение было чем угодно – средством от сглаза или болезни, защитой от нечистой силы, но только не единением с Церковью. Этот маленький крестик да заплесневелые иконки в уголках изб были жалким тотемом. Ничего другого они сроду не знали. Убожество их жизни приводило священника в ярость. Его душила затаенная злоба и жажда мести, воплощавшаяся во вполне ощутимом физическом недомогании.

Но Лукьян осознавал, что злоба и презрение подсознательно распространялись и на него самого – на сельского священника, который, посчитав ежедневное богослужение неуместным и бессмысленным, сократил службы в своей разваливающейся церквушке до единственной – утренней воскресной. Сделал он это в тот день, когда дьякон Демьян, его извечный соратник (их рифмующиеся имена даже часто вместе вспоминали: «То Лукьян да Демьян знают» или «Лукьян да Демьян скажут»), заявил, что от частых, ставших рутинными служб он чувствует, что начал безвозвратно утрачивать веру. Услышав это, Лукьян в сердцах сплюнул и сперва хотел выставить дьячка вон, но, взглянув еще раз на его худосочное лицо, прикрытое седыми прядями, принял тогда показавшееся ему верным решение о прекращении всех служб, кроме воскресной. По воскресениям же Демьян исправно приходил в церквушку к самому утру, а Лукьян сказал, что не держит на него зла. Он считал дьячка лишь промежуточным, ничего не решающим звеном в общей цепи деревенского безверия. Лукьян по привычке махал кадилом, дым завивался в волосы его плешивой бороды, и самому себе священник казался нелепым и бездарным шутком. И оттого, что он постоянно смотрел на себя каким-то косым, недоверчивым взглядом, Лукьян чувствовал незаслуженное унижение и досаду. А его собственная злоба всё больше казалась ему спесью лакея, прислужника окружающей сутолоки.

Лукьян часто думал, что эти воскресные службы были предательством, жалким подвохом настоящего величия Церкви, и единственной отдушиной для вымещения его нарастающей злобы становились исповеди, на которые крестьяне время от времени продолжали приходить. Исповедовал Лукьян на неделе – дома, в одной из комнат. Желающих исповедоваться никогда не было много, трудно припомнить случаи, чтобы одновременно пришло двое, и каждого священник неизменно держал не менее часа, высасывая из него признания во всех возможных грехах, задавая злобные и бесстыдные вопросы. Он наслаждался тем, как эти безмозглые твари, кусая заусеницы и моргая, пытаются выпутаться из расставленных им силков. Особой бесцеремонностью священник отличался по отношению к молодым девицам и детям.

Отпуская грехи, он одновременно не упускал возможности намекнуть на несвоевременность раскаяния, и в эти минуты более всего походил на злорадного лекаря, сообщающего больному о неизлечимой болезни. Он стремился раздуть грех до таких размеров, после которых его отпущение должно было казаться исповедовавшемуся если не манной небесной, то, по крайней мере, чем-то, заслуживающим несказанной благодарности. Десятилетние же детишки, с трудом понимая происходящее, сидели, не шелохнувшись, боясь даже вытереть брызги его

слюны со своих щек, и лишь изредка жалко тараторили какие-то неуместные оправдания. Многие учились придумывать себе грехи, ибо реальные их провинности были ничтожны и не удовлетворяли гнева священника и нахмурившихся с икон святых, да и самим ребятишкам казались не соответствующими строгости атмосферы исповеди. В эти моменты Лукьян торжествовал, но дети, увы, не были частыми его гостями, как правило, они упирались и не хотели идти к нему, ссылаясь на головную боль. Однако их родители продолжали являться на исповедь и, несмотря на строгость священника, неизменно уходили от него с чувством облегчения.

Странное желание излить душу вселяло в них иллюзию исцеления от мучений, и они ясно ощущали, как с каждым произнесенным словом избавляются от накипевших внутри страданий, находят оправдание своей озлобленной, нездоровой жизни. Лукьян называл их терзания грехами, и они не возражали против этого определения. Собственно, они никогда не задумывались об определениях. Так уж ли важна разница между словами? Им не слишком нужно было благословение священника, они лишь чувствовали необходимость высказать всё, что наболело внутри, выплеснуть боль за пределы своего тела, избавиться от того, что мешает жить, и, главное, сделать это не прилюдно, а с глазу на глаз – не опасаясь дурной молвы. Лукьяну же страшно надоели эти дежурные жалобы и стенания, это выставление невзгод напоказ, эти однообразные повествования, целью которых было вовсе не желание очиститься от греха, а банальная потребность выговориться. Тем более что у каждого из пришедших огорчений было столько, что хватило бы и на десяток-другой человеческих жизней. Глядя в их одинокие, жалкие и изможденные глаза, в этом невозможно было усомниться. Более измученных людишек, растративших последние остатки своей слабой жизни, еще надо было потрудиться найти: извечная нужда отучила их существование от смысла, сделала неисполнимыми все, даже самые ничтожные желания, свела их действительность к механическому повторению убогих и унылых эпизодов (и даже смерть казалась одним из этих отрывков – скучным фрагментом, который способен повториться произвольное количество раз). Собственно, невзгоды составляли большую часть их существования: с утра до вечера их занимала работа, все плоды которой могли в один миг оказаться уничтоженными градом или неожиданными заморозками, сулившими голод и нескончаемый детский плач, а вечная тяжесть в груди вызывала желание напиться или поругаться с соседкой, или хотя бы поколотить ребенка. Радость, если и заглядывала в их дома, то какими-то урывками, и тут же забывалась, затмеваясь тревогой, руганью и раздражением. Повседневный сюжет жизни каждой из семей был следующим: когда муж был пьян, он изводил жену, когда муж был трезв, жена изводила его. Измученные, голодные, они пили самогон и тупели. Взаимная травля стала таким же привычным делом, как походы по воду. Когда они напивались, в них просыпалась лютая ярость, желание совершить что-нибудь отчаянное и злое, и в этом зле они пытались забыть свою обиду и горе. Но потом обида вспыхивала с новой силой, и единственным местом, куда они могли прийти, чтобы поделиться ею, становился дом священника. Поэтому они и готовы были простить ему его причуды, списывали их на его одинокий образ жизни и даже немного жалели Лукьяна («Ему, может, потяжелее, чем нам, приходится...»). Необходимость покаяния они принимали как неотъемлемое правило этой игры в исповедь. Потом в соседских разговорах некоторые даже мимоходом жаловались друг другу на грубость священника. Но никогда никто из них не заикнулся о том, чтобы попросить его не быть столь резким, наоборот – казалось, они получали даже какое-то скрытое удовольствие от лишней возможности поплакаться.

И сам Лукьян чувствовал, что, сколько ни старался, но приносил прихожанам вовсе не страх, а удовлетворение, и от этого он начинал презирать их еще больше. В момент отпущения грехов Лукьян всегда примечал проступавшую сквозь их лица жуткую идиотическую усмешку. Он ни на секунду не верил гримасам вымученного внимания и сухим вздохам, изображавшим умиротворенность и смирение. Слишком уж плохо были сыграны эти роли, слишком грубы были поношенные маски из тонкой резины, бегло конспектировавшие скудную пове-

дневность. Их физиономии напоминали засиженные мухами фотографии, забытые в уголках зеркал пыльных прихожих. Конечно, они уходили с исповеди такими же пустыми, какими и были до прихода. Но, в конечном счете, священнику казалось, что после этих встреч они уходили победителями, он же ощущал себя поверженным. Ведь карающая длань наставника становилась лишь неуместным вкраплением в эти оханья, отчего сами исповеди превращались в какие-то праздные соседские сплетничания, выставлявшие весь ассортимент избитых фраз, и вовсе не походили на суровый приговор инквизитора. Его каверзные вопросы о вере или крещении никогда не находили ответов, как правило, люди толком не понимали, о чем он их спрашивает. И Лукьян ненавидел это тупоумие, ему казалось чудовищным, что все его сомнения, муки и душевные судороги были незнакомы этим болванам. Само назначение исповеди, таким образом, утрачивалось сразу с обеих сторон: и со стороны исповедовавшегося, приходившего вовсе не к тому, кто освятит покаяние, и даже не к дарующему прощение, а лишь к тому, кто по долгу службы вынужден будет выслушать его историю; и со стороны священника, занимавшегося вовсе не врачеванием душ, а вымещением собственной желчи и злобы, – смысл стремительно покидал эту форму духовного общения, превращая ее в странный архаизм. У Лукьяна на душе становилось всё чернее, потому что и себя он ощущал кем-то вроде торговца, пытающегося выдать подделку за древнюю рублевскую икону, но при этом утешающего себя, что делает это ради благой цели – восстановления подлинных религиозных чувств.

Все эти ощущения всё больше толпились в нем и беспорядочно спутывались в косматый клубок. Мысли, как ошестинившиеся гвозди, раздирали его череп изнутри, не оставляя никакого места для покоя. Крохотными шильцами острых жал они ковыряли его мозг. Самому себе он начал казаться дерганным, истерзанным сомнениями, никоим образом не годным к исповедованию. Не в силах отыскать выхода, Лукьян всё больше накапливал злобу. Иногда ему даже казалось, что само желание обращать окружающих в свою веру выросло из этой злобы, из потребности заставить их испытать его собственные муки. Он не знал, что делать со всей этой мирской мерзостью, которая сотнями лет скапливалась по углам, и вот настал тот час, когда она начала бесконтрольно вываливаться в рыхлое и бесхребетное пространство, как разъеденные сыростью куски облупившейся штукатурки. Из дня в день священнику всё больше казалось, что его разум ускоряет движение в гонке напряжения, стремительно направляясь к непредсказуемой катастрофе. Священник чувствовал, что еще недолго – и он оступится, споткнется, упадет в одну из расходящихся под ногами трещин.

Внезапно ход мыслей священника нарушил дикий крик, заставивший лицо Лукьяна скорчиться от неконтролируемой дрожи отвращения. Навстречу ему шел Игошка – местный юродивый. А за ним как обычно плелся его оборванный пес. Лукьяну всегда был неприятен этот грязный неотесанный мужик с глазами плута. Но еще больше его раздражала та нелепая атмосфера незаслуженной привилегированности, создававшаяся вокруг юродивого с самого детства и не оспариваемая никем: угостить его и его пса хлебом было само собой разумеющимся, привычным делом, хотя любому другому прохожему не дали бы и крошки. Титул блаженного сделал Игошу едва ли не святым в глазах невежественного населения деревеньки. Его ноздрятая физиономия словно состояла из двух половин: одна доверительно заглядывала тебе в глаза, а вторая по-кошачьи хитро косила куда-то в сторону. Для Лукьяна оставалось загадкой, почему никто, кроме него, не способен был распознать скрываемую за маской дурашливого простофили с разинутым ртом его истинное лицо: пройдошливого, «себе на уме», двуличного хитреца, прикидывающегося то рассеянным, то сумасшедшим, то ребенком, то скособоченным паяцем.

Столкнувшись с этим лукавым, острым, как будто царапающимся взглядом, Лукьян Федотыч всегда погружался в какую-то болезненную тоску, но в эту минуту встреча с ним показалась святому отцу особенно неприятной. Игошка же, увидев священника, быстро побежал к нему навстречу и, захлебываясь смехом, закричал: – Шо, неужли живой ишо? Ну, крути-

крути колесо, раскручивай! Да посильнее вращай! Жги, щоб облака полыхали ватные! – Взгляд Лукьяна исполнился неприязни: – Да что ты бормочешь-то, миряк, вечно? Чего дразнишься? И откуда понабрался поговорок-то этих? – Юродивый тут же сощурил косые глаза и, искрив рот, зашипел: – От Бога, видать, батюшка, от Господаря, не иначе. Больше и неоткуда. Просто никто-де его Игошку, волховского сына, не учивал, никто больше. Так и знай, Лукьян Федотыч, так и знай! – И не устал чепуху свою молоть-то? – Да я молю-умоляю, чтоб ты услышал хоть что-то в требухе этой! А то ведь, когда всё перемелется, мука вечная только и останется! – Священник вздохнул, нервно пощипывая свою мочалистую бороденку, и, решив, что это самый подходящий момент двинуться дальше, прошипел: – Вечно ты, бездельник, ко всем цепляешься! – И уже прибавил шагу, как вдруг Игошка вприпрыжку обогнал его и начал скакать прямо перед его носом: – А ведь славно, шо тебя сего дня встретил, батюшка. Слово тебе вымолвить бы надобно. Вотшо сказать-то хочу. Сон мне тут даве пригрезился. Провидческий! Это я точно знаю, шо провидческий! И не спорь даже! Так вот. В каморке своей близнеца я встретил. Это тело гибель учуяло. Это, брат, душа моя, может, из плоти выйдя, за телом этим окаянным наблюдает. А во мне уже вот души-то нет. Тело умирает, но и душа моя погибнет без тела, застудится. Но близнец не только ко мне пришел. Ожидай и ты гостя из зеркала. Мой мне передал, шо и за тобой пожалуют, чтобы не обидно было. И полгода не пройдет, как свидитесь. Даже зима еще толком рукава засучить не успеет. Отзвонил, да и с колокольни. Так что плачь по себе, молись теперь, щоб во смерти пустошь была, а не муки вечные. Вот уж небытия вкусить – не поперхнуться бы. Грусть-свинья в тебя дунет духом. – Да что ты балабонишь-то, полоумный, сам-то хоть понимаешь? Как у тебя слова во фразы-то складываются? Али, первое слово сказав, уже забываешь смысл его и не знаешь, как второе к нему приладить? – Разумею, брат, раз умею. А вот ты, видать, не очень пока понял-то. И правда, тяжело ж тебе, видать, всех подряд исповедуешь, а самому грехи выплеснуть-то и некуда. И прищур ведь твой мне всегда непригляден был. Болтаешь с людьми, а сам – будто в карты мухлюешь. И как живешь-то ты, вот чего понять не могу? За что душа-то там в тебе до сих пор зацепляется?

Лукьян побледнел от раздражения и в ярости свернул в первую подворотню и скоропешно скрылся за заборами. «Эй, подивитесь-ка все! Ишь, каким аллюром зачесал, вон, как жук-водомер сигает!» – раздавались ему вослед улюлюканья Игоши. И чем громче орал юродивый, тем бойчее подлаивала ему облезлая псина. Но священнику, провожаемому этим полоумным хохотом и лаем, уже было безразлично, что он действительно мог выглядеть со стороны смешным: его ноги путались в длинной рясе, а в размочалившейся бороде застряли репы. Оказавшись в подворотне, Лукьян шмыгнул в первый же проем в заборе и решил огородами и куширями выбраться на параллельную улицу. На счастье его никто не видел: двор был заброшенным, поросшим полынью и шерстистыми лопухами, около обвалившегося домишки даже не ютились голодные псы, потому что хозяйка дома – ветхая старушка (Афросьей звали или нет – Аксиньей) умерла года с полтора назад. Только ветер шнырял сквозь серые разбитые стекла и чердачные дыры, а сорванные с окон ставни и двери, болтавшиеся на петлях, вели беседу на им одним понятном языке скрипов и хлопков. Казалось, что дом после смерти старухи начал гнить еще быстрее, он уже выглядел вовсе непригодным для жизни, как и еще добрых два-три десятка таких же пожухлых жилищ, прибавлявшихся в Волглом ежегодно. Лукьян взглянул на это почерневшее строение и подумал, что вот так, наверное, когда-нибудь будет выглядеть всё их селение – изгнившей, серо-черной и источающей мертвизну горсткой жмущихся друг к другу заброшенных, поросших бурьяном и курослепом дворов, огороженных сопрелым тыном. Точь-в-точь как те обломанные зубы надгробий на деревенском погосте, окруженные цепким хороводом ворсистых сорняков. С каждым годом они всё сильнее уродовали плавные очертания склона, и курган всё больше очерчивался в этой жуткой гримасе, угрожая зажевать в землю всё, что попадало в поле его взора. И учитывая то, что детей здесь с каждым годом рождалось всё меньше, а из тех, что появлялись на свет, выживала лишь треть, эта картина прорезаю-

щихся из земли зубов – неотесанных алмазов в казне разраставшейся лопуховой империи уже не казалась столь надуманной. В Волглом всё погибало или уже было погибшим. Деревня напоминала увязшую в грязи, задранную оглоблями кверху старую поломанную телегу, навсегда брошенную хозяином. Через какое-то время всё это будет смыто дождем и зарастет муравой. Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю. Вода, которую нельзя будет собрать. Лукьян криво усмехнулся, до конца не осознав, что же он ощущает по этому поводу – захлестывающий ужас или злорадную злобу. Так или иначе, он постарался поскорее покинуть этот двор и рванул наискосок – через самый бурьян, чтобы поскорее оказаться на соседней улице.

Пробираясь сквозь заборный проем, Лукьян изорвал испачканный в грязи подол своей рясы, но всё же, выйдя на безлюдную улицу, он почувствовал облегчение – словно выполз из какого-то душного тоннеля и хлебнул долгожданного свежего воздуха. Священник, наконец, избавился от Игоши, стряхнув с себя невыносимое воспоминание, как стрекошущее насекомое, вроде сверчка или кузнечика. Но мерзкий треск его смеха продолжал отдаваться гулким бессонным эхом внутри головы Лукьяна, и он всё не мог прийти в себя, никак не находил средства заставить сердце колотиться чуточку медленнее. И даже сплюнул, словно опоганившись чем-то.

По дороге, примыкавшей к центральной улице, шел человек. И этот прохожий не был знаком Лукьяну. Хотя все и осознавали, что кривая может занести к ним в деревню кого угодно, но чужие забредали сюда совсем не часто, и их появление становилось неким событием, поводом для разговоров – тем более что к чужакам всегда относились с опаской. Мало ли кем мог быть этот бродяга – рыбаком или охотником. Вид он имел самый что ни на есть оттолкновенный. Он брел, не спеша, и время от времени странно подергивал головою и нервно всплескивал руками – быстрым движением, словно вытряхивал невидимую тряпку или отгонял каких-то насекомых. Чем ближе он приближался к священнику, тем яснее тот осознавал, что человек этот безумен и забрел в Волглое случайно. Ноги, обутые в грязные старые сапоги, он поднимал с некоторой осторожностью, большей частью волоча их по земле, словно боясь сбиться с пути, потерять нужное направление. Длинная косматая борода облежала его лицо, доходя почти до самых глаз и оставляя свободными лишь складчатые мешки под ними. Ветер выдувал из седевших волос репы, колючки, засохшие травинки и прочий сор. Глаза смотрели из-под кустистых бровей, словно из какой-то амбразуры, и казалось, что в этом взгляде, спрятанном за долгими прядями, едва теплилась жизнь, вернее даже не жизнь, а какое-то ее жалкое подобие. Решетка морщин веером расходилась от глаз по задубевшим щекам, пряталась в бороду, и снова, как тугая паутинистая сетка, стягивалась на шее. Его возраст трудно было определить, но в вялом, увядшем взгляде, тем не менее, сохранилась какая-то болезненная детскость. Время от времени путник зачем-то продолжал взмахивать руками. Эти движения напоминали нервный тик, и было похоже, что он не совсем владел своими обвисшими руками, беспорядочно болтавшимися вдоль сухого туловища.

Священник понял, что этот бродяга из тех, у кого нет ни занятия, ни профессии, давно изъятый из обращения и не способный к жизни в сообществе разумных людей. Дышал он с натугой, и на его медном лбу переливались капли пота. Тускло-голубые зрачки плавали в глубоких темных мешках, как лунные отражения, дробящиеся в колодезных ямах. В глазах читались обреченное отчаяние, казалось, что сквозь его тело были процежены судороги невыносимой боли. Но священнику показалось, что одновременно эти глаза как будто упивались неумным величием собственного страдания, выпестовавшего помимо скорби и скуки, еще и дерзновенную отвагу и пламенеющую красоту. Да, во взгляде этого грязного оборванца священник приметил величественную красоту, которую он почему-то воспринял как вызов. Вызов всему селу, вызов ему самому – неудачливому и изъеденному сомнениями священнику.

Этот проходимец, один только вид которого вызывал тошноту, казалось, смог достичь той высшей моральной точки, что неподвластна человеческому пониманию. Он был колоссаль-

ным разрывом в системе. Его взгляд обрушивался, как удар хлыста, пригвождая на месте, но одновременно, не давая возможности увернуться, требовал всего существа и поглощал целиком, как игра гениального актера. В этом взгляде переливался необузданный и ликующий гнев, самовластное неистовство, в глубине глаз читалась неотвратимая буря, от буравящего хохота которой могли полопаться перепонки и начинала кружиться голова. Взгляд, полный неискоренимого безумия, казался ничем иным, как самой явью – не пропущенной через фильтры, не подстроенной под готовые схемы, явью очевидной и не упраздняемой. И всё это притом, что его глаза упрямо отказывались видеть окружающие предметы, на которые прежде, похоже, обращали слишком много внимания, теперь же глаза были обращены в другом, скорее всего неведомом даже им самим направлении. А может быть, наоборот, он научился видеть вещи в их прозрачности и пустой очевидности. Но взгляд этот, вопреки здравому смыслу, был прекрасен, он зачаровывал, словно разум бессознательно стремился смешаться с собственной противоположностью, раствориться в том, что его начисто отрицало.

И Лукьян ничего не мог поделать с собой – так увлекало его это зачаровывающее отвращение. Он понимал, что эти глаза смотрели на него в упор, но едва ли замечали его, а если и различали – то скорее что-то иное, из области воображения; и никакого вызова, конечно, в этом взгляде быть не могло, а если он и присутствовал там, то нечаянно, неосознанно. Да и откуда в этих неприкаянных бесстрастных глазах, подернутых мертвенно-серой дымкой, было взяться пламени бунта? Конечно, всё это он сам зачем-то сейчас додумал, домислил, насочинял. Иначе и быть не может. Нищий, гордящийся собственными увечьями, – какая глупость! Лукьян подумал, что самым логичным в этот миг было бы – подчиниться почти животному инстинкту и затравить чужака, как, наверняка, и поступил бы любой житель этой скупой на приветливость деревни. И эта мнимая зачарованность взглядом бродяги была, скорее всего, лишь бессознательным свидетельством нежелания стать равным остальным жителям в своем чувстве неприязни к чужаку, от которого он инстинктивно поспешил избавиться, потому что ничто не угнетало его больше, чем мысль о том, что он тоже часть этого народа, что он такой же, как они.

Наперекор своему желанию он решил попытаться вступить с бродягой в разговор, но не успел: персонаж в лохмотьях не заметил его и прошел мимо на расстоянии пяти метров. А может быть, он только делает вид, хитрит? Лукьян решил проверить его реакцию и, подняв из-под ног крохотный камушек, запустил его в спину нищего. В ответ бродяга только взмахнул рукой, словно пытаясь отогнать назойливую осу или муху. Несколько раз подпрыгнувший на земле камушек, впрочем, и впрямь был немного похож на маленького сверчка. Но этот взмах руки, этот странный жест, совместивший в себе неопределенность и отчаяние, заставил Лукьяна отказаться от всяких подозрений о хитроумности бродяги, и он попытался начать разговор. «Ну что бродишь? Чего зря землю ногами карябаешь?» – Не успев задать свой вопрос, Лукьян осознал бессмысленность своего обращения. Бродяга медленно повернул голову в его сторону, как будто слышал гулкое эхо где-то вдалеке, на расстоянии километра. Так поворачиваются на далекий гудок поезда или едва слышный раскат грома – рефлекторно и безо всякой цели. Немного сощутив глаза и, как будто слегка приплюсавшись, как только что проснувшийся пес, пытающийся вспомнить, что за место он выбрал для ночлега в этот раз, бродяга вгляделся в маячивший человеческий силуэт, из которого исходили звуки. «Откуда пожаловал-то? Зачем здесь?» – по инерции продолжил священник. Бродяга рассеяно посмотрел на Лукьяна, у которого уже не было никакой уверенности в том, что нищий видит его. В то же время, бродяга определенно не был слеп: Лукьяну удалось это проверить, сделав два тихих шага вправо, – и голова странного безумца повернулась в его сторону. Он действительно, еще как будто не осознал до конца, что перед ним стоит человек. С трудом фокусируя взгляд, он пялился на священника, пытаясь различить, что исходит от этого существа – опасность или что-то другое. Лукьян же, чем дольше стоял рядом с ним, тем лучше чувствовал, насколько

сильный запах жизненных отходов источали его лохмотья. Даже мусорные ведра на сырых огородах и компостные ямы, даже смрадные нужники не издавали такой вони, как эта. Едва ли стоило сомневаться в том, что его кудлатая голова и грязные лохмотья кишат вшами. «Пойдем, брат, я тебе новую одежду дам», – сказал Лукьян с непонятно откуда взявшейся уверенностью, что бродяга непременно последует за ним. И тот действительно поплелся следом, но вовсе не потому, что понял смысл произнесенной фразы, а потому, что его заинтересовала перемена в ритме голоса.

7

Про кузнеца Нестора в деревне ходили весьма странные и разноречивые слухи. В его мастерскую, располагавшуюся на самой окраине, на небольшом косогоре прямо по-над речкой – на противоположной стороне от погоста, приходили не слишком часто, и главным назначением этих походов, как правило, становилась потребность в инструментах или гвоздях. Хотя это и было единственной его подработкой, монеты Нестор всегда принимал с какой-то угрюмой неловкостью, за что прослыл зажимистым и жадным, вызвав всеобщее недоверие. Когда он, облаченный в высокие, доходящие до колен охотничьи сапоги, потертую серую шляпу и расстегнутое пальто, из-под которого выглядывала рукоятка большого охотничьего ножа, раз в две недели появлялся на базаре, чтобы купить еды, торговки старались как можно быстрее отдать ему все необходимые продукты и с облегчением вздыхали, лишь только он поворачивал назад, уложив покупки в потрепанный ягдташ. Они даже стали заранее заготавливать для него небольшие, завязанные узлами пакеты с овощами и молоком, чтобы сократить время общения. Привезенного на грузовике мяса он никогда не покупал, потому что предпочитал добывать его охотничьим промыслом, по полдня пропадая в лесу для расстановки капканов. Его увлечение охотой тоже хоть и не считалось пороком, но расценивалось жителями деревеньки как еще одна нелепая странность («Не в себе мужичок-то, оно ж ясно»).

Кроме Нестора никто не охотился, если не считать одного случая, когда пьяные деревенские мужики поймали невесть как оказавшегося посреди улицы раненого журавля, которому тут же лопатой отрубили голову (ее потом детвора еще неделю пинала по улицам, пока кто-то, наконец, не швырнул журавлиную черепушку в реку). По поводу жареной птицы закатили праздник, наварили самогона, и на зов сошлась едва ли не вся улица (кур-то зарубали редко, а свиней и коров и вовсе не держали – хлопот по горло, а кормить нечем). И хоть бахвалившийся над углями детина Назар, что вызвался поваром, ощутимо пересушил шашлык, все хвалили и еду, и повара («Назар, хоть и пьет как лошадь, но благов много людям делает»), отмечая, что мясо у журавля (которого добрая половина села именovala *аистом*) благородное, нежнее, чем у кур.

Это и сам Лукьян Федотыч подтвердил, кстати. Если бы кузнецу стало известно про этот случай, ему, несомненно, пришла бы в голову аналогия с воронами, набросившимися надохлую мышь, или еще что-нибудь в этом роде. Но, так или иначе, других случаев охоты в Волглом припомнить было сложно. Про кузнеца же ходили кривотолки, что у него даже имеется ружье, никто, правда, не мог подтвердить, что оно исправно, так как выстрелов никогда не было слышно. Но бабам-торговкам было вполне достаточно заткнутого за пояс охотничьего ножа, чтобы по несколько минут креститься после ухода кузнеца с рынка. А зимой к списку его странностей добавлялась еще одна: перемещение на лыжах («Ну ладно б только по лесу ездил, так ведь и на базар с этими ходулями притаскивается»).

Понедельники, в которые он приходил, они не любили, часто в эти дни на них уже с утра нападала какая-то странная необъяснимая хандра. Для некоторых баб сами дни его приходов стали чем-то вроде плохой приметы, и они старались делать в злосчастные понедельники поменьше дел, так как любое корыто угрожало быть перевернутым, молоко – сбежавшим, пальцы – ошпаренными, ну и тому подобное. Едва придя на базар, торговки уже успевали переругаться и шипели друг на друга. А причиной всему было это вызревавшее вдалеке крохотное темно-серое пятнышко, которое постепенно разрасталось в тучу и застило горизонт их умиротворенности. Кузнец, конечно, не любил их заговорщицкие, полные скрытого презрения, восковые взгляды, а все их вымученные, неестественные движения напоминали ему игру никудышных актеров. Но, похоже, ему нравилось, что встречи, по крайней мере, были лишены открытых эмоций. Даже когда люди приходили к нему в мастерскую, он старался как можно

меньше общаться с ними, и переспрашивал что-нибудь только по особой необходимости, всегда пытаясь сократить продолжительность этих визитов, и возвращался к работе раньше, чем они успевали попрощаться. Поэтому и редкий гость бросал завернутые в смятую газетную бумагу гвозди в сумку и спешил удалиться, не оглядываясь на черневшую где-нибудь в самом углу или под потолком, на последней ступеньке стремянки фигуру, невесть зачем забравшуюся так высоко, как паук прячется в зыбкий волан своей паутины. Казалось, это уединение он ценил превыше всего, словно оно было единственным и последним обломком его приволья.

За гвоздями, как правило, приходили не для ремонта (этим в деревне редко кто занимался), а потому что они требовались для заколачивания гробов. Ничего другого и заказывать-то уже особого смысла не было – с тех пор как воровать в домах стало нечего, подвесные замки перестали пользоваться спросом; ограды на могилах из скупости делать никто уже не хотел, а кресты Нестор ковать наотрез отказался, так что единственным и неизменным заказом оставались гвозди. Поэтому мало-помалу образ кузнеца неосознанно стал ассоциироваться у суеверных жителей деревеньки со смертью. Из нелюбви к Нестору иные даже разламывали пустующие дома и вытаскивали из досок кривые, проржавевшие, лишенные шляпок штыри, и, матерясь, заколачивали гробы своих родственников ими, лишь бы не видеться лишний раз с кузнецом.

К тому же все слухи о нем неизменно сводились к темной истории о гибели его жены и дочери, которые около десяти лет назад утонули в деревенской речке, тогда еще не зацветшей и вполне пригодной для купания. В те времена в речке даже еще водилась мелкая рыба, которую целыми днями ловили мальчишки. Речка была неглубокой и застоявшейся, но народу в ней утонуло много, только на памяти одного поколения – человек около десяти, а для такой деревеньки – это число большое. Про речку, забирающую жизни, ходили нехорошие разговоры. После смерти несторовской семьи в реке стали меньше купаться (всё-таки до этого тонули дети да пьяницы, а тут – сразу мать и дочь, что-то неладное, видать, с речонкой-то этой), а со временем совсем перестали, и она довольно-таки быстро начала зацветать, пока практически вся ее поверхность не покрылась зеленой чешуей. Главная загадка этой смерти заключалась в том, что было решительно непонятно, куда могли деться тела двух утопленниц, – обычно трупы всплывали уже на следующий день после несчастного случая. И все гадали, что же могло произойти. Были и рациональные предположения вроде «знамо дело – за корягу какую-нибудь зацепились», но большинство населения склонялось к доводам мистическим, считая, что неспроста вот так люди пропадают. Нестор же после смерти жены и дочери запил. Пил он не слишком долго, не больше года, но за это время его успели окрестить опойцем, причем, как водится, прозвище это дали ему те, кто и сами были не дураки выпить. А взор его серо-синих глаз с тех пор так и остался мутным и невыразительным, словно пьяной дымкой затянутым. Взгляд больше не изменился, хотя сам кузнец с тех пор постарел – его волосы седели, всё больше приобретая пепельный оттенок, только борода так и оставалась черной. «А как у Нестерки бабы-то его померли, про него и вовсе позабыли... Пил он пил, пока всё не пропил. Так и носит Нестерка одежду одну и ту же, поверх всего.»

Он был единственным мастеровитым мужиком во всей деревне, но трудно вообразить обстоятельства, когда к нему обратились бы за помощью. Нет, когда-то (и не так уж давно, в общем-то) его ремесло пользовалось успехом: он с утра до ночи ковал петли, дверные ручки, замки, кочерги, ножи, даже таскал с собой шпераки, чтобы, если что, на месте сковать. Молчун-молчуном, но парой слов переброситься тогда еще не чурался. Но по мере одичания Нестора и омертвения Волглого в этих услугах всё меньше стали нуждаться. К тому же всем казалось странным, что этот работник снес свою старую хибару, но оказался не способен достроить новую, которая даже в сравнении с убогими домами остальных жителей казалась свалкой. «Мастер-то, мастер, а свое жильё отремонтировать не может», – частенько говаривали про него, – «и дом-то у него плоше, чем даже баня наша захудалая.» – А многие считали, что он

не ремонтирует свой дом неспроста, и потому к его образу, и без того малопривлекательному, добавилось еще и поверье о колдовском промысле.

Помещение мастерской с закопченными, пахнущими сыростью стенами и разреженным светом, поблескивавшим на наковальне, как нельзя лучше подходило для обиталища виритника. К тому же как-то во время сильной грозы в крышу его стоящей на возвышении мастерской ударила ночная молния, отчего кровля так и осталась опаленной. И этот дом-недогарок был главным напоминанием о нечистой душе его хозяина. «В лес он не охотиться уходит, волхвничает он там с содранными шкурами. – Дочку-то они даже и не покрестили. Не зря его Лукьян на дух не переносит. – А потерчат-то дьявол ворует, известно дело. – Девчонка его родилась с хвостиком коротеньким. Мои ж детишки его как-то во время купания приметили. – А когда я ее по головке разок погладила, тут же рожки маленькие почувствовала. – Да не тонули они, бросьте басни сочинять, сам он их как-то ночью от скуки прирезал, сволочь. Дрянный человек. – Надо ж, такая смерть. – Да не умирал никто вовсе, утопленницы живы-живехоньки, он их в дальней комнате прячет. Или в погребе. – Нет, Ольга – баба гордая была... Не допустила бы... – Вот спесь-то эта ее и сгубила! За Луку в свое время не вышла, так вот с этим нелюдем и сгинула. – Да ладно, гордая! Как петух рябу топчет, так и мужик бабу мнет. – Тут уж кто на кого вскочит, тот того и топчет. – Да точно сбежала она от него, от изверга, а он эту чушь про речку сочинил, чтобы вконец стыдно не было. – Ну уж прямо, ему до стыда-то и дела никогда не было. – Да нет, видели же, как тонут. Дочка захлебнулась, мать за нею, в одежде прямо, и туда же – в вертуна нырнула. – Бросьте, не человек он вовсе. Ему и железо неспроста повинуется. Черный мужик. Бес он. Вот что. Такому стоит глянуть только, так тотчас же дурно станет. – И в лес-то уходит, чтоб с болот-няниками плясать! Грома на него нет!»

Слухи ходили разные, сложно было выбрать, кому поверить. Но каждый слушал только себя, и выбирать было некому. Особенно в распространении этих слухов преуспела старуха-прачка Марфа Матвеевна, которую в Волглом все звали Марфицей. Сухощавая, как щепка, старуха, пользовалась у жителей деревеньки не меньшим авторитетом, чем священник Лукьян. «Нелегко нам начальство-то держать», – приговаривала Марфица. – «Смотри вот за вами за всеми как за детьми малыми, порядки блюди.» – Сферы влияния у них, правда, были разделены: если к священнику шли жаловаться на тяготы жизни, то к Марфице приходили за повседневными советами, никогда не доверяя ей сокровенное и наболевшее, тем более что она тут же раскудахтывала любую новость по всей деревне.

К тому же за этой костлявой старухой молва закрепила искусство ведьмачества, считалось, что она легко могла изурочить – напустить болезнь на человека. Однако, даже когда дело касалось порчи, ведунья не приступала к своему ремеслу без сотворения креста и молитвы. Так что начинались ее заговоры со слов «молитв ради пречистыя твоея матери, благодатный свет мира.», и лишь потом Марфица доставала какие-то корни да травы и переходила к зловещим обещаниям: «Сделаю-де его такова черна, как в избе черен потолок, и согнется так, как серп согнулся.» Как серп, впрочем, никто не сгибался, но не раз бывало, что после ее проклятья на человека обрушивалось множество мелких невзгод и неурядиц, подкрепляемых каждодневными угрозами соседа, обещавшего сходить к Марфице еще разок. И бедняга начинал накручивать себя еще больше, отчего оказывался неспособен даже к мелкой работе и переворачивал каждое ведро, попадавшееся на пути. В конце концов, он сам шел к Марфице просить, чтобы она избавила его от своего проклятья. И вопреки сохранившемуся еще кое-где поверью, будто наведший порчу снять ее не в силах, прачка обычно соглашалась исцелить бедолагу.

Основным же ремеслом Марфицы была стирка – к потомственной прачке добрая половина села относилась узлы с простынями, которые в назначенный час возвращались чистыми. Стирала она хорошо, вымачивала белье в щелоке (секрет смешивания золы с содой старуха никому не раскрывала), выводила даже самые въевшиеся пятна – от вина или ягод. Изба ее вечно была завешена свежевystираным бельем (во дворе оно никогда не успевало просохнуть

из-за почти не прекращавшегося дождя), и порой пришедшему к ведьме приходилось некоторое время искать выхода из мягкого, влажного лабиринта или, осознав тщету этих поисков, обреченно вставать на четвереньки и под аккомпанемент кошачьего мяуканья проползать под полошущимися на сквозняке заплатами орифламами, и цвет флагов перемирия становился лишь прибавочной издевкой над и так уже готовым расплакаться несчастным просителем, не дерзнувшим не то, что снять с прогнувшихся веревок прищепки, но даже приподнять уголки свисавших почти до пола стягов его собственной капитуляции – истертых знамен, от прелого запаха которых становилось тошно. И вдруг фигура старухи, унюхавшей гостя, вырастала над ним из клубней стирочного пара. Выставив вперед острый подбородок, Марфа Матвеевна косо смотрела из-под насупленных бровей сквозь растрепанные, выбившиеся из-под черного платка седые волосы. А порой ее заставляли врасплох, скажем, за чисткой закопченных кастрюль, чадивших пригорелым маслом, и случайный грим из сажи напоминал боевой раскрас шамана (прибавьте к этому еще и адское бульканье вечно кипятившегося белья) – в общем, находящийся в полуобморочном состоянии гость сразу же падал Марфице в ноги и умолял снять заклятье. И лучшей награды, чем сморщенная улыбка он уже и ждать не мог.

Собственно, она чаще снимала недуги и заговаривала, чем нагоняла порчу, поэтому-то ее в отличие от сероглазого колдуна-кузнеца люди уважали. Сами недуги могли и не проходить, но людей настолько завораживал сам ритм этой ворожбы, что они не имели наглости не поверить в ее силу. Заговоров же усохшая старуха за свою жизнь выучила великое множество. Дикция у Марфицы была неважная, и потому смысл не всегда можно было разобрать. Все заговоры она читала едва слышным шепотом. Эти причитания выгоняли из головы любые мысли, лились дождем и начинали шуршать внутри головы. Зайдет в дом очередного бедолаги и, сморщив зеленовато-желтое лицо, уже с порога запричитает. «Не пришла я в добрый день давать, пришла я недуг вынимать, из рук, из ног, из головы, из мозгов, из бровей, из очей, из всякой жилочки, суставочки. Не сама я недуг вынимаю – пресвятая богородица и все святые, будьте в помочи! Ты ты взялся с полудня, ты ты взялся с обеда, ты ты взялся с вечера, ты ты взялся в ночь, ты ты насланный, ты ты взялся в радости, я тебя изгоняю, на воды ссылаю, где вода крутит, где люди не ходят, и птахи не летают, и звери не бегают. Там тебе ходить, там тебе гулять, желтой кости не ломать! Господи, очисти, Матерь Божия, очисти, мать земля-сыра, очисти, все святые, станьте в помочи!» И так до бесконечности, пока заговоренный не впадал в состояние экстаза и уже переставал соображать, отпустила боль или нет. «Привесь вот еще чесночка головку к кресту нагрудному», – перед уходом наказывала Марфица.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.